

Приятного чтения!

Рувим Исаевич Фраерман Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви

I

Тонкая леса была спущена в воду под толстый корень, шевелившийся от каждого движения волны.

Девочка ловила форель.

Она сидела неподвижно на камне, и река обдавала ее шумом. Глаза ее были опущены вниз. Но взгляд их, утомленный блеском, рассеянным повсюду над водой, не был пристален. Она часто отводила его в сторону и устремляла вдаль, где крутые горы, осененные лесом, стояли над самой рекой.

Воздух был еще светел, и небо, стесненное горами, казалось среди них равниной, чуть озаренной закатом.

Но ни этот воздух, знакомый ей с первых дней жизни, ни это небо не привлекали ее сейчас.

Широко открытыми глазами следила она за вечно бегущей водой, силясь представить в своем воображении те неизведанные края, куда и откуда бежала река. Ей хотелось увидеть иные страны, иной мир, например австралийскую собаку динго. Потом ей хотелось еще быть пилотом и при этом немного петь.

И она запела. Сначала тихо, потом громче.

У нее был голос, приятный для слуха. Но пусто было вокруг. Лишь водяная крыса, испуганная звуками ее песни, близко плеснулась возле корня и поплыла к камышам, волоча за собой в нору зеленую тростинку. Тростинка была длинна, и крыса трудилась напрасно, не в силах протащить ее сквозь густую речную траву.

Девочка с жалостью посмотрела на крысу и перестала петь. Потом поднялась, вытащив лесу из воды.

От взмаха ее руки крыса шмыгнула в тростник, а темная, в пятнах, форель, до того неподвижно стоявшая на светлой струе, подпрыгнула и ушла в глубину.

Девочка осталась одна. Она взглянула на солнце, которое было уже близко к закату и клонилось к вершине еловой горы. И, хотя было уже поздно, девочка не спешила уйти. Она медленно повернулась на камне и неторопливо зашагала вверх по тропинке, где навстречу ей по пологому склону горы спускался высокий лес.

Она вошла в него смело.

Шум воды, бегущей меж рядами камней, остался за ее спиной, и перед ней открылась тишина.

И в этой вековой тишине услышала она вдруг звук пионерского горна. Он прошелся по просеке, где, не шевеля ветвями, стояли старые пихты, и протрубил ей в уши, напомнив, что надо спешить.

Однако девочка не прибавила шагу. Обогнув круглое болотце, где росли желтые саранки, она наклонилась и острым сучком вырыла из земли вместе с корнями несколько

бледных цветов. Руки ее уже были полны, когда позади раздался тихий шум шагов и голос, громко зовущий ее по имени:

– Таня!

Она обернулась. На просеке, возле высокой муравьиной кучи, стоял нанайский мальчик Филька и манил ее к себе рукой. Она подошла, дружелюбно глядя на него.

Возле Фильки на широком пне увидела она котелок, полный брусники. А сам Филька узким охотничьим ножом, сделанным из якутской стали, очищал от коры свежий березовый прут.

– Разве ты не слышала горна? – спросил он. – Почему же ты не спешишь?

Она ответила:

– Сегодня родительский день. Мать моя приехать не может – она в больнице на работе, – и в лагере меня никто не ждет. А почему ты не спешишь? – добавила она с улыбкой.

– Сегодня родительский день, – ответил он так же, как она, – и ко мне приехал из стойбища отец, я пошел его проводить до еловой сопки.

– Разве ты уже проводил его? Ведь это далеко.

– Нет, – ответил с достоинством Филька. – Зачем я буду его провожать, если он останется ночевать возле нашего лагеря у реки! Я выкупался за Большими камнями и пошел искать тебя. Я слышал, как ты громко пела.

Девочка посмотрела на него и засмеялась. А смуглое лицо Фильки потемнело еще больше.

– Но если ты не спешишь никуда, – сказал он, – то постоим тут немного. Я угощу тебя муравьиным соком.

– Ты уже угощал меня утром сырой рыбой.

– Да, но то была рыба, а это уже совсем другое. Попробуй! – сказал Филька и воткнул свой прут в самую середину муравьиной кучи.

И, склонившись над ней вдвоем, они подождали немного, пока тонкая ветка, очищенная от коры, не покрылась сплошь муравьями. Тогда Филька стряхнул их, слегка ударив веткой по кедру, и показал ее Тане. На блестящей заболони видны были капли муравьиной кислоты. Он лизнул и дал попробовать Тане. Она тоже лизнула и сказала:

– Это очень вкусно. Я всегда любила муравьиный сок.

Она двинулась дальше, и Филька пошел с нею рядом, не отставая от нее ни на шаг.

Они молчали. Таня – потому, что любила думать понемногу обо всем и молчать всякий раз, когда входила в этот молчаливый лес. А Филька о таком чистейшем пустяке, как муравьиный сок, тоже не хотел говорить. Все же это был только сок, который она могла добывать и сама.

Так прошли они всю просеку, не сказав друг другу ни слова, и вышли на противоположный склон горы. И здесь, совсем близко, под каменным обрывом, все у той же самой реки, без усталости спешившей к морю, увидели они свой лагерь – просторные палатки, стоявшие на поляне в ряд.

Из лагеря доносился шум. Взрослые, должно быть, уже уехали домой, и шумели одни только дети. Но голоса их были так сильны, что здесь, наверху, среди молчания серых морщинистых камней, Тане показалось, что где-то далеко гудит и качается лес.

– А ведь, никак, уже строятся на линейку, – сказала она. – Тебе бы следовало, Филька, прийти в лагерь раньше меня, потому что не посмеются ли над нами, что мы так часто приходим вместе?

«Вот уж про это ей бы не следовало говорить», – подумал с горькой обидой Филька.

И, схватившись за цепкий слойник, торчащий над обрывом, он прыгнул вниз на тропинку так далеко, что Тане стало страшно.

Но он не расшибся. И Таня бросилась бежать по другой тропинке, меж низких сосен, криво растущих на камнях...

Тропинка привела ее на дорогу, которая, точно река, выбегала из леса и, точно река, блеснула ей в глаза своими камнями и щебнем и прошумела длинным автобусом, полным людей. Это взрослые уезжали из лагеря в город.

Автобус проехал мимо. Но девочка не проводила взглядом его колес, не посмотрела в его окна; она не ожидала увидеть в нем никого из родных.

Она пересекла дорогу и вбежала в лагерь, легко перескакивая через канавы и кочки, так как была проворна.

Дети встретили ее криком. Флаг на шесте похлопал ей прямо в лицо. Она стала в свой ряд, положив цветы на землю.

Вожатый Костя погрозил ей глазами и сказал:

– Таня Сабанеева, на линейку надо становиться вовремя. Смирно! На-пра-во равняйся! Ощущайте локтем соседа.

Таня пошире раздвинула локти, подумав при этом: «Хорошо, если у тебя справа друзья. Хорошо, если они и слева. Хорошо, если они и там и тут».

Повернув голову направо, Таня увидела Фильку. После купания лицо его блестело, как камень, а галстук был темен от воды.

И вожатый сказал ему:

– Филька, какой же ты пионер, если каждый раз делаешь себе из галстука плавки!.. Не ври, не ври, пожалуйста! Я сам все знаю. погоди, я уж поговорю с твоим отцом серьезно.

«Бедный Филька, – подумала Таня, – ему сегодня не везет».

Она смотрела все время направо. Налево же она не смотрела. Во-первых, потому, что было это не по правилам, во-вторых, потому, что там стояла толстая девочка Женя, которую она не предпочитала другим.

Ах, этот лагерь, где уже пятый год подряд проводит она свое лето! Почему-то сегодня он ей казался не таким веселым, как прежде. А ведь всегда она так любила просыпаться в палатке на заре, когда с тонких шипов ежевики капает на землю роса! Любила звук горна в лесу, ревающего подобно изюбру, и стук барабанных палочек, и кислый муравьиный сок, и песни у костра, который она умела разводить лучше всех в отряде.

Что же сегодня случилось? Неужели эта бегущая к морю река навела на нее эти странные мысли? С каким смутным предчувствием следила она за ней! Куда хотелось ей плыть? Зачем понадобилась ей австралийская собака динго? Зачем она ей? Или это просто уходит от нее ее детство? Кто знает, когда уходит оно!

Таня с удивлением думала об этом, стоя смирно на линейке, и думала об этом позже, сидя в столовой палатке за ужином. И только у костра, который поручили ей развести, она взяла себя в руки.

Она принесла из лесу тонкую березку, высохшую на земле после бури, и поставила ее посередине костра, а кругом искусно развела огонь.

Филька же окопал его и подождал, пока не займутся сучья.

И березка горела без искр, но с легким шумом, со всех сторон окруженная сумраком.

Дети из других звеньев приходили к костру любоваться. Приходил и вожатый Костя, и доктор с бритой головой, и даже сам начальник лагеря. Он спросил их, почему они не поют и не играют, раз у них такой красивый костер.

Дети спели одну песню, потом другую.

А Тане не хотелось петь.

Как прежде на воду, широко открытыми глазами смотрела она на огонь, тоже вечно подвижный и постоянно стремящийся вверх. И он, и он шумел о чем-то, навевая на душу неясные предчувствия.

Филька, который не мог видеть ее печальной, принес к костру свой котелок с брусникой, желая порадовать ее тем немногим, что у него было. Он угостил всех товарищей по звену, но Тане выбрал ягоды самые крупные. Они были спелы и прохладны, и Таня съела

их с удовольствием. А Филька, видя ее снова веселой, начал рассказывать о медведях, потому что отец его был охотник. И кто же другой мог так хорошо рассказать о них.

Но Таня прервала его.

– Я родилась здесь, в этом краю и в этом городе, и нигде не бывала в другом месте, – сказала она, – но всегда удивлялась, почему здесь так много говорят о медведях. Постоянно о медведях...

– Потому что кругом тайга, а в тайге водится много медведей, – ответила толстая девочка Женя, у которой не было никакой фантазии, но которая всему умела находить верную причину.

Таня задумчиво посмотрела на нее и спросила у Фильки, не может ли он что-нибудь рассказать об австралийской собаке динго.

Но о дикой собаке динго Филька ничего не знал. Он мог бы рассказать о злых нартовых собаках, о лайках, но об австралийской собаке ему ничего не было известно. Не знали о ней и другие дети.

И толстая девочка Женя спросила:

– А скажи, пожалуйста, Таня, зачем тебе австралийская собака динго?

Но Таня ничего не ответила, потому что в самом деле ничего на это не могла сказать. Она только вздохнула.

Словно от этого тихого вздоха, березка, горевшая до того так ровно и ярко, вдруг закачалась, как живая, и рухнула, рассыпалась пеплом. В кругу, где сидела Таня, стало тесно. Мрак подступил близко. Все зашумели. И тотчас же из темноты раздался голос, которого никто не знал. Это не был голос вожатого Кости.

Он сказал:

– Ай-ай, друга, чего кричишь?

Чья-то темная большая рука пронесла над головой Фильки целую охапку сучьев и бросила их в костер. Это были еловые лапы, которые дают много света и искр, с гудением уносящихся вверх. И там, наверху, они гаснут не скоро, они горят и мерцают, точно целые горсти звезд.

Дети вскочили на ноги, а к костру подсел человек. Он был с виду мал, носил кожаные наколенники, а на голове у него была берестяная шляпа.

– Это Филькин отец, охотник! – закричала Таня. – Он ночует сегодня тут, рядом с нашим лагерем. Я его хорошо знаю.

Охотник подсел к Тане поближе, закивал ей головой и улыбнулся. Улыбнулся он и другим детям, показав свои широкие зубы, источенные длинным мундштуком медной трубочки, которую он крепко сжимал в руке. Каждую минуту он подносил к своей трубочке уголек и сопел ею, ничего никому не говоря. Но это сопение, этот тихий и мирный звук говорил всем, кто хотел его слушать, что в голове этого странного охотника нет никаких дурных мыслей.

И поэтому, когда к костру подошел вожатый Костя и спросил, почему у них в лагере находится посторонний человек, то дети закричали все вместе:

– Не трогай его, Костя, это Филькин отец, пусть посидит у нашего костра! Нам с ним весело!

– Ага, так это Филькин отец, – сказал Костя. – Отлично! Я узнаю его. Но в таком случае я должен сообщить вам, товарищ охотник, что сын ваш Филька постоянно ест сырую рыбу и угощает ею других, например Таню Сабанееву. Это одно. А во-вторых, из своего пионерского галстука он делает себе плавки, купается возле Больших камней, что категорически было ему запрещено.

Сказав это, Костя ушел к другим кострам, которые ярко горели на поляне. А так как охотник не все понял из того, что сказал Костя, то посмотрел ему вслед с уважением и на всякий случай покачал головой.

– Филька, – сказал он, – я живу в стойбище и охочусь на зверя и плачу деньги для того, чтобы ты жил в городе, и учился, и был всегда сыт. Но что же из тебя выйдет, если за один

только день ты сделал так много зла, что на тебя жалуются начальники? Вот тебе за это ремень, иди в лес и приведи сюда моего оленя. Он пасется близко отсюда. Я переночую у вашего костра.

И он дал Фильке ремень, сделанный из лосиной кожи, такой длинный, что его можно было закинуть на вершину самого высокого кедра.

Филька поднялся на ноги, глядя на товарищей, не разделит ли кто-нибудь с ним его наказание. Тане стало жалко его: ведь это ее угощал он утром сырой рыбой, а вечером муравьиным соком и, может быть, ради нее купался у Больших камней.

Она вскочила с земли и сказала:

– Филька, пойдем. Мы поймаем оленя и приведем его твоему отцу.

И они побежали к лесу, который встретил их по-прежнему молчаливо. Скрещенные тени лежали на мху между елями, и волчьи ягоды на кустах блестели от света звезд. Олень стоял тут же, близко под пихтой, и объедал мох, свисавший с ее ветвей. Олень был так смирен, что Фильке не пришлось даже развернуть аркан, чтобы набросить его на рога. Таня взяла оленя за повод и по росистой траве вывела его на опушку, а Филька привел к костру.

Охотник засмеялся, увидев детей у костра с оленем. Он предложил Тане свою трубочку, чтобы она покурила, так как он был добрый человек.

Но дети громко засмеялись. А Филька строго сказал ему:

– Отец, пионеры не курят, им нельзя курить.

Охотник был очень удивлен. Но недаром же он платит деньги за сына, недаром же сын живет в городе, ходит в школу и носит на шее красный платок. Должен же он знать такие вещи, о которых не знает отец. И охотник закурил сам, положив руку на плечо Тане. А олень его подышал ей в лицо и прикоснулся к ней рогами, которые тоже могли быть нежными, хотя уже и давно затвердели.

Таня опустила на землю рядом с ним почти счастливая.

На поляне всюду горели костры, вокруг костров пели дети, и доктор ходил среди детей, беспокоясь об их здоровье.

И Таня с удивлением думала:

«В самом деле, разве это не лучше австралийской собаки динго?»

Почему же ей все-таки хочется плыть по реке, почему все звенит в ушах голос ее струй, бьющихся о камни, и так хочется в жизни перемен?..

II

Саранки, которые Таня вчера острым сучком вырыла из земли, сохранились наутро прекрасно. Она укутала их корни мокрой травой и мхом, завернула стебли в свежую бересту и когда взяла цветы под мышку, а на спину повесила свой вещевой мешок, то сразу превратилась в путника, готового в далекую дорогу.

Перемены оказались неожиданно близки. Лагерь решили закрыть, а детей отвезти в город, потому что доктор нашел, что ночная роса очень вредная для здоровья. Как-никак ведь была уже осень.

И верно, меньше стало летних трав, и вот уже целую неделю, как по утрам палатки покрывались инеем, и на листьях в лесу до полудня висели капли росы, все до одной ядовитые, точно змеи.

Однако путь, который лежал перед Таней, не был далеким путем. Собственно, это была та самая дорога, по которой вчера проехал с шумом автобус. Хотя она выбегала из лесу, и убегала в лес, и была совсем новая, однако на ней сегодня стояла пыль – кремнистая пыль, которую даже старые пихты, растущие вдоль обочин, не могли никак унять. Они только отмахивались от нее своими синими лапами.

Таня отлично видела это, шагая позади всех в золотистом венце из пыли. А рядом с ней шел Филька со своим отцом, и самым последним – олень. Он тоже не любил пыли и громких медных труб, в которые каждые полчаса трубили лагерные музыканты, шагавшие за возами с

поклажей. И когда мимо проехали на танках красноармейцы и крикнули детям «ура», он так сильно натянул повод, что вырвал его из рук охотника и скрылся в лесу между стволами высоких сосен вместе со своим вьюком. А ведь именно в этом вьюке были самые дорогие вещи Фильки и Тани.

Оленя пришлось искать.

Они нашли его среди тонких берез, как и он, дрожавших от страха.

Долго не хотел олень выходить из лесу. Но, когда наконец охотник вывел его снова на дорогу, музыки уже не было слышно и пыль улеглась обратно на те же самые камни, с каких она поднялась. И пихты больше не махали ветвями.

Лагерь ушел далеко вперед.

Не что другое, как именно это обстоятельство, послужило причиной тому, что, войдя в город с холщовой сумочкой за плечами, в тапках, разбитых об острый щебень дороги, Таня у себя дома никого не нашла.

Мать, не дождавшись, ушла на работу в больницу, как уходила она постоянно, а старая нянька полоскала на речке белье. Ворота же были открыты.

И Таня вошла в свой двор.

Но много ли путнику нужно? Напиться холодной воды, посидеть на траве, опустив руки на землю. Вот под забором трава. Она стала тоньше, верхушки ее уже сожжены ночным инеем, а все же под вечер и в ней трещат кузнечики, невесть как попавшие в город. А вот и вода. Правда, она не бежит, не струится. Она зиму и лето стоит посреди двора в бочке, прикованная к старым саням.

Таня открыла затычку и дала напиться цветам, смочив их корни, укутанные белым мхом. Потом напилась сама и подошла к деревьям, растущим направо от крыльца. Широкая ель и береза с тонкими ветвями стояли тихо рядом. Ель еще была хороша. Тени ее хватало на полдвора и больше. Но береза! Она уже начинала желтеть.

Таня потрогала ее белый ствол, весь усеянный наростами.

«Что это? Уже осень?» – подумала она.

И береза уронила сморщенный лист в ее подставленные ладони.

«Да, да, – сказала себе Таня, – это в самом деле осень. Однако ирисы под окном еще стоят. Может быть, и мои саранки постоят немного. Но где же все наши?»

В это время услышала она рядом с собой тихую возню и ворчанье. Оказалось что это старая кошка Казак привела своих котят и заставила их попрыгать перед Таней. Потом прибежала утка, полоща в клюве червя.

Котята за лето выросли, и самый маленький из них, по прозвищу Орел, уже не боялся ни червей, ни утки.

Затем в калитке показалась собака. Была она ничтожна ростом, с большой головой, и было ей лет десять по меньшей мере.

Заметив Таню, она остановилась в воротах, и в старых, слезящихся глазах ее засветился стыд – ей было совестно, что не она первая узнала о возвращении Тани. Невольным ее движением было уйти назад, вовсе не заметить Тани. Ведь бывают же и такие случаи в собачьей жизни. Она повернула уже было к воротам, не вильнув даже хвостом. Но все ее хитрые умыслы разлетелись прахом в тот самый миг, как только Таня позвала ее по имени:

– Тигр!

И тотчас же собака подпрыгнула на своих коротких ногах и бросилась к Тане, в ее зажатые колени.

Таня долго гладила ее голову, покрытую короткой жесткой шерстью, где под кожей нащупывались уже старческие бугры.

Да, все это были уже старые и слабые существа, хотя имена их были грозны.

Таня смотрела на собаку с любовью.

А когда подняла глаза, то увидела няньку, тоже старуху, с глубокими морщинками, со взором, уже потускневшим от долгой жизни.

Поставив ведро с бельем на землю, нянька поцеловала Таню и сказала:

– Какая ты черная стала, не лучше твоего Фильки. А мамы-то ведь нету дома. Ждала, ждала – не дождалась, на работу ушла. Одни, значит, мы с тобою остались. Мы завсегда одни. Хочешь, самовар поставлю? А то поешь чего? Уж не знаю, чем они вас там в лагере кормят. Поди, насили выплунешь.

Нет, Таня не хотела есть.

Она лишь отнесла в дом свою сумочку, походила по тихим комнатам, потрогала книги на полке.

Да, нянька была права. Как часто Таня оставалась одна хозяином своего досуга и желаний! Но только она одна знала, как эта свобода тяготила ее. В доме нет ни сестер, ни братьев. И мамы очень часто нет. Грудь стесняется чувством горьким и нежным, вызывающим слезы на глазах. Откуда возникает оно? Запах ли это рук и лица матери, или запах ее одежды, или это ее взгляд, смягченный постоянной заботой, который Таня носит в своей памяти повсюду и всегда?

Раньше, каждый раз как мать собиралась из дому, Таня начинала плакать, но теперь только думала о ней с непрестанной нежностью.

Она не спросила у няньки, скоро ли вернется мать. Она только потрогала ее платье в шкафу, посидела на ее кровати и снова вышла во двор. Надо же было наконец как-нибудь устроить цветы, которые она вырыла в лесу на болотце.

– Но ведь осень, Таня, – сказала нянька. – Какие теперь цветы?

– Ну какая же у нас осень! Посмотри, – ответила Таня.

Осень, как всегда, проходила над городом без тумана. Окрестные горы, как весной, были темны от хвои, и долго не склонялось над лесами солнце, и долго во дворах под окнами цвели большие, без запаха цветы.

В самом деле, может быть, и саранки поостоят еще немного. И если засохнут, то все же корни их будут в земле.

И Таня широким ножом вырыла в земле несколько ямок на грядке и подперла стебли саранок палочками.

Тигр же ходил меж грядок и обнюхивал их. А обнюхав, поднял свою большую голову с земли и посмотрел вверх на забор. Посмотрела туда и Таня.

На заборе сидел Филька. Он был уже разут, в одной майке, без галстука, и лицо его было возбужденно.

– Таня, – крикнул он, – беги скорее к нам! Отец подарил мне настоящих ездовых собак! Но Таня не перестала копать, руки ее были черны от земли, а лицо лоснилось.

– Этого быть не может, – сказала она, – ты обманываешь меня. Когда же успел он это сделать? Ведь мы вместе пришли сегодня в город.

– Нет, это правда, – сказал Филька. – Он привел их в город еще три дня назад и держал у хозяйки в сарае. Он хотел мне сделать подарок, и он зовет тебя посмотреть.

Таня снизу еще раз внимательно поглядела на Фильку.

В конце концов, это могло быть правдой. Ведь дарят же детям вещи, о которых они мечтают. И дарят им это отцы – как часто читала об этом Таня.

Она бросила нож на грядку и вышла за ворота на улицу.

Филька жил через двор. Ворота его были закрыты.

Но он широко открыл их перед Таней, и она увидела собак.

Возле них на земле сидел Филькин отец и курил. Трубочка его хрипела так же громко, как в лесу у костра, лицо его было приветливо. Олень стоял привязанный к забору. А собаки лежали все вместе, с хвостами, скрученными на спине в кольцо, настоящие лайки. Не поднимая острых морд, протянутых на земле, они посмотрели на Таню волчьим взглядом.

Охотник закрыл ее от зверей.

– Они злые, друга, – сказал он.

А Филька добавил:

– Это почище австралийской собаки динго.

– Я знаю этих собак отлично, – сказала Таня. – А все-таки это не дикая собака динго. Запрягите их, пожалуйста.

Охотник был озадачен немного. Запрягать собак летом? Эта забава была так неразумна! Но и сын попросил его это сделать. И охотник достал из сарая легкую нарту и упряжь и поставил собак своих на ноги. Они поднялись ворча.

А Таня любовалась их нарядной упряжью, обитой сукном и кожей. Султанчики на их головах развевались подобно белым метелкам повейника.

– Это богатый подарок, – сказала Таня.

Охотник был рад похвале своей отцовской щедрости, хотя произнесла ее только девочка.

Они посидели на нарте, и Таня подержала каюр – длинную палку из ясеня, окованную на конце железом.

Собаки все вертелись, налегая на задние ноги, – собирались бежать, тянуть нарту по голой земле. Охотник дал им за усердие юколу, которую достал из мешка. Он вынул еще из-за пазухи две другие сушеные рыбки, две крошечные корюшки, светящиеся на солнце, протянул их сыну и Тане. Филька начал громко грызть, а Таня отказалась. Но кончилось тем, что и она съела свою рыбку.

Охотник стал собираться в дорогу. Пора было уже покинуть этот город, где олень его целый день голодал. Он загнал собак в сарай и распряг там нарту. Потом отвязал от забора оленя и дал ему на ладони соли. Вьюки же были готовы давно.

За воротами охотник попрощался с детьми.

Он подал Тане руку, одну, потом другую, как подают на прощание соседу, и просил по снегу приехать на собаках в гости.

Сына же он обнял за плечи.

– Будь, если можешь, – сказал он, – добрым охотником и ученым. – И, вспомнив, должно быть, жалобы начальника на сына, добавил в раздумье: – И носи свой платок на шее, как надо.

Вот он уже подошел к повороту, ведя оленя в поводу, и обернулся еще раз. Лицо его было смугло, сделано будто из дерева, но и издали оно казалось приветливым. И Тане было жалко, что он так скоро исчез.

– Хороший у тебя отец, Филька, – сказала она в раздумье.

– Да, я его люблю, когда он не дерется.

– Разве он дерется когда-нибудь?

– Очень редко и лишь тогда, когда бывает пьян.

– Вот как! – Таня покачала головой.

– А твой разве никогда не дрался? И где он у тебя? Я его никогда не видел.

Таня посмотрела Фильке в глаза – не заметит ли она в них любопытства или усмешки. Она, кажется, никогда не говорила с ним о своем отце.

Но Филька смотрел прямо Тане в лицо, и глаза его выражали одно лишь простодушие.

– Никогда, – сказала она, – он не дрался.

– Тогда ты должна любить его.

– Нет, я не люблю его, – ответила Таня.

– Вот как! – сказал, в свою очередь, Филька. И, помолчав немного, тронул Таню за рукав. – Почему? – спросил он.

Таня нахмурилась.

И тотчас же у Фильки все слова кончились, словно ему тут же отрезали язык. И казалось, никогда он уже больше не спросит ее ни о чем.

Но Таня внезапно покраснела:

– Я его не знаю совсем.

– Он разве умер?

Таня медленно покачала головой.
– Так где же он?
– Далеко, очень далеко. Может быть, за океаном.
– В Америке, значит?
Таня кивнула головой.
– Я угадал!.. В Америке? – повторил Филька.
Таня медленно повела головой справа налево.
– Так где же он? – спросил Филька.
Толстые губы Фильки были открыты. По правде сказать, Таня поразила его.
– Ты знаешь, где Алжир и Тунис? – сказала она.
– Это я знаю. В Африке. Он, значит, там?
Но Таня снова отрицательно покачала головой, на этот раз более печально, чем прежде:
– Нет, Филька. Ты знаешь, есть такая страна – Маросейка.
– Маросейка? – повторил за ней Филька задумчиво. Это имя понравилось ему. –
Должно быть, красивая страна Маросейка.
– Да, Маросейка, – тихо сказала Таня, – дом номер сорок, квартира пятьдесят три. Он там.
И она исчезла в своем дворе.
А Филька остался на улице один. Он все больше удивлялся Тане. По совести говоря, он был совершенно сбит с толку.
– Маросейка, – сказал он.
Может быть, это остров, который он за это лето забыл? Эти проклятые острова никогда не держались в его памяти. В конце концов, он был лишь простой школьник, мальчик, родившийся в глухом лесу, в кожаном шалаше зверолова. И к чему ему острова!

III

Вода лилась из бочки в жестяную лейку с таким славным шумом, будто это была вовсе не старая вода, запертая в гнилой бочке, а маленький водопад, только что родившийся высоко в горах под камнями.

Голос его был свеж и полон благодарности к этой девочке, которая одним движением руки освободила его и предоставила возможность бежать куда угодно. Он громко звенел ей в уши и так красиво сворачивал в воздухе свою струю, может быть, из одного только желания обратить ее внимание на себя.

А Таня вовсе не слышала, не замечала его.

Держа деревянную затычку в руке, она думала об отце. Разговор с Филькой сильно встревожил ее память.

Но трудно думать о человеке, которого никогда не видела и о котором ничего не помнишь, кроме того, что он твой отец и живет где-то далеко, в Москве, на Маросейке, дом номер сорок, квартира пятьдесят три. В таком случае можно думать только о себе. А что касается себя, то Таня давно уже пришла к заключению, что она не любит его, не может любить да и не должна. Ах, она знает все отлично! Он полюбил другую женщину, он оставил мать, он ушел от них много лет назад, и, может быть, у него есть уже другая дочь, другие дети. Что же он тогда для Тани? И пусть мать не говорит о нем только одно хорошее. Это ведь гордость, не больше. Но и ей, Тане, доступна она. Разве не из гордости она всегда молчит о нем? А если и приходится вымолвить несколько слов, то разве сердце ее при этом не разрывается на части?

Так думала Таня, а вода из бочки все текла, текла, маленький водопад все шумел и прыгал, оставленный без всякого внимания. Давно наполнил он жестяную лейку Тани и бежал по земле, теперь уже никого не боясь. И, добежав до Тани, притронулся к ее ногам.

Но и это не заставило ее обратить на него внимание. Тогда он побежал дальше, к грядке с цветами, сердясь и шелестя по-змеиному меж черных камешков, валявшихся повсюду на

дорожке.

И лишь крики няньки вывели Таню из раздумья.

Старуха стояла на крыльце и кричала:

– Чего балуешься? Всю воду выпустила! И сама вымокла. Посмотри только на себя! Или не жалко тебе маминых денег? Ведь мы за воду деньги платим!

Таня посмотрела на себя. В самом деле, руки ее были в земле, тапочки изорваны камнями, а чулки мокры от воды.

Она показала их няне. И старуха перестала кричать, а только всплеснула руками. Она принесла ей из колодца свежей воды, чтобы помыться.

Вода была холодная. И пока Таня смывала пыль и грязь, нянька помаленьку ворчала.

– Растешь ты, как я погляжу, быстро. Вот уж пятнадцатый идет, – говорила она, – а все никак в свое положение не придешь. Думная ты уж очень.

– Это что же значит? – спросила Таня. – Умная?

– Да не умная, а думаешь много, отчего и подуравей выходишь. Иди, иди, сухие чулки надень.

У нее был свой особый язык, у этой старухи с жилистой спиной и твердыми, жилистыми руками, которыми она так часто умывала Таню в детстве.

Сняв на пороге мокрую обувь, Таня вошла в свой дом босиком.

Она пригрела ноги на ковре матери, на дешевом коврикe из оленьей шкуры, вытертой в разных местах, и засунула руки под подушку, чтобы пригреть и их. Вода из колодца была действительно холодная. Но еще холодней показалась Тане твердая бумага, захрустевшая под ее пальцами.

Она вынула из-под подушки письмо. Оно было немного измято, с разорванным краем – читанное уже несколько раз письмо.

Что это?

Мать никогда не прятала под подушку своих писем.

Таня посмотрела на конверт. Письмо было к матери от отца. Таня узнала это по тому, как сильно стукнуло ее сердце, и еще по тому, что внизу прочла она адрес отца. Значит, он очень боялся, что письмо не дойдет, если на самом краю написал так старательно: «Маросейка, дом № 40, квартира 53».

Таня положила письмо на постель и, босая, прошлась по комнате. Потом спрятала его обратно под подушку и снова прошлась по комнате. Потом взяла и прочла.

«Дорогая Маша, я писал тебе уже несколько раз, но, должно быть, письма мои не доходят: ведь вы так далеко живете – совсем на другом краю света. Моя давнишняя мечта наконец исполняется – меня назначили на Дальний Восток. Буду служить как раз в вашем городе. Вылетаем на самолете втроем – с Надеждой Петровной и Колей. Его уже приняли в вашу школу, в тот же самый класс, где учится Таня. Ты ведь знаешь, как дорог нам с Надей этот мальчик. Во Владивостоке сядем на пароход. Ждите нас первого числа. Подготовь, прошу тебя, Таню. Мне страшно тебе признаться, Маша, как я виноват перед ней. Не в том, что мы с тобой разошлись, что все так случилось в жизни: у тебя, у меня, у Нади, – не в этом я виноват перед Таней. Хотя заботы о ней никогда не покидали меня, с первого дня ее рождения, но я так редко писал ей, так часто о ней забывал. Да и она мне тоже очень редко писала. И даже в тех редких письмах, когда она только научилась писать, когда рука ее с трудом выводила по три слова на одной странице, я находил как бы осуждение себе. Она меня совсем не знает. Как мы с ней встретимся – вот что меня немного страшит. Ведь ей было только восемь месяцев, когда мы с тобой расстались. У нее были такие беспомощные ноги, и пальцы на них были не больше горошин, и руки с красными ладонями. Я так хорошо это помню...»

А Таня ничего не помнила. Она посмотрела на свои босые ноги, смуглые до самых колен, с гладкой кожей, с крутым сводом, подпирающим легкую ступню. На них так удобно стоять! Посмотрела на руки, еще тонкие в кистях, но с крепкими пальцами, с сильной ладонью. Но кто, кроме матери, радовался их росту и силе! Ведь даже посеяв горох близ

дороги, человек приходит проведать его по утрам и ликует, видя всходы поднявшимися хоть на самую малость.

Таня горько заплакала.

А поплавав, ощутила успокоение, и радость пришла к ней сама, как приходит голод и жажда.

Ведь это же отец приезжает!

Таня вскочила на кровать, расшвыряла подушки на пол. Потом легла ничком и так лежала долго, смеясь потихоньку и плача, пока не вспомнила вдруг, что вовсе не любит отца. Куда же исчезла ее гордость? Не этот ли мальчик Коля отнял у нее отцовскую любовь?

– А все-таки я ненавижу их, – сказала она.

И снова, то отливая, то приливая, овладевала ее сердцем обида.

Таня вскочила на колени и с силой стукнула кулаком по раме.

Окно раскрылось под ее ударом, и Таня снова увидела Фильку – в третий раз за этот день:

Нет, видно, в сердце его ни тумана, ни обиды, какую ощущала в себе Таня.

Он сидел на завалинке и держал на коленях атлас.

– Нет такой страны Маросейки, – сказал он. – Есть далекая страна Марокко, есть остров Майорка. А Маросейка – это не остров, не полуостров, не материк. Зачем ты обманываешь меня?

Таня смотрела на Фильку, будто не видя его, будто глядела сквозь него на песок.

– Молчи, молчи, Филька, – сказала она. – Все равно не люблю.

– Разве я обидел тебя чем-нибудь? – спросил Филька.

Руки его опустились, как только заметил он еще не остывшие на ресницах Тани слезы. Душевная слабость охватила его. И так как Фильке солгать не стоило никакого труда, как и сказать правду, то он хлопнул ладонью по атласу и воскликнул:

– Есть такая страна Маросейка! Есть! Этот проклятый атлас никуда не годится. Он совсем неполный. Я даже отлично помню, как учитель говорил нам о ней.

Таня будто только сейчас услышала Фильку. И его простодушная ложь вернула ей покой.

«Вот кто будет мне настоящим другом, – решила она. – Ни на кого я не променяю его. Разве не делится он со мной всем, что у него есть, даже самым малым?»

– Филька, – сказала она, – я не о тебе говорила. Я говорила о другом мальчике, которого зовут Коля. Ты прости меня.

А Филька простил уже давно, едва только с губ ее слетело первое слово, сказанное более ласково, чем другие.

– Если это о другом, – сказал он, – то ты можешь его не любить. Мне это все равно. Однако почему ты его не любишь?

Таня не ответила сразу, но, помолчав немного, спросила:

– Как, по-твоему, Филька, должен человек быть гордым или нет?

– Должен, – ответил Филька твердо. – Но если это гордишься не ты, а Коля, то совсем другое дело. Тогда вспомни обо мне, если потребуется тебе крепкая рука, или аркан, которым ловят оленей, или палка, которой я научился владеть хорошо, охотясь в тайге за дикушами.

– Но ведь ты его совсем не знаешь, за что же ты будешь его бить?

– Но я знаю тебя, – возразил Филька.

И эта мысль платить за обиду не слезами, а ударом показалась ей в этот момент не глупой, а вполне ясной, лишенной всякой смутности, какую она ощущала в себе. Она и сама умела отлично сбивать с деревьев дикуш, метко кидая в этих смиренных птиц тяжелые камни и сучья.

Но через минуту она подумала: «Я, кажется, делаюсь злой».

А Филька вдруг шагнул от окна налево, в смущении глядя поверх Таниного плеча, и, прижав свой атлас локтем, неожиданно кинулся со двора.

Близко за плечами Тани стояла мать. Она вошла неслышно. В дождевом плаще, в белом докторском халате, она показалась Тане совсем другой, чем была месяц назад. Так предмет, поднесенный близко к глазам, теряет вдруг свою знакомую форму. И Таня, еще не опомнившись, секунду-две неподвижно смотрела на мать. Она увидела две еле заметные морщинки, расходившиеся от уголков ее носа, и худые ноги в туфлях, слишком просторных для нее – мать никогда не умела заботиться о себе, – и худые, слабые руки, столь искусно врачевавшие больных. Только взгляд ее остался неизменным. Таким всегда носила его в памяти Таня. Мать смотрела на нее своими серыми глазами. И в них, как щепотка соли, брошенная в море, растворились мгновенно все обиды Тани. Она поцеловала мать осторожно, избегая притронуться к глазам, словно боялась своим движением погасить их взгляд.

– Мама! – сказала Таня.

Мать обняла ее.

– Я торопилась домой, – сказала она. – Я соскучилась по тебе, Танюша.

Она оглядела дочь долгим и пристальным взглядом. Сначала взглянула на волосы – они выцвели сильно, стали совсем как сталь; потом посмотрела в лицо – оно было горячим, и на коже темнел загар.

«Ей было в лагере хорошо», – подумала мать.

Затем поглядела на ноги и удивилась, что Таня сидит босая. Тогда лишь увидела она беспорядок: подушки, валявшиеся на полу, смятую кровать и на кровати письмо, вынутое из конверта.

И взгляд ее глаз, который Таня так боялась потревожить своей лаской, погас сам собой, словно ветер, налетевший внезапно, возмущил его ясность. В нем появилось беспокойство, неуверенность, тревога. Даже притворство обнаружила в нем Таня. Иначе зачем же так медленно мать поднимает с пола подушки и приводит в порядок постель?

– Ты прочла это без меня, Таня? – тихо спросила мать.

Таня безмолвно опустила голову.

– Ты должна быть рада, Таня.

Но и на этот раз с ее губ не слетело ни звука.

А мать терпеливо ждала.

– Мама, этот мальчик мне брат? – спросила Таня.

– Нет, – ответила мать. – Он чужой. Он только племянник Надежды Петровны. Но он вырос у них, и папа любит его и жалеет, потому что у мальчика нет ни отца, ни матери. Папа – добрый человек. Я всегда говорила тебе об этом.

– Значит, он мне чужой, он мне даже не брат, – сказала Таня, наклонив голову еще ниже.

Мать тихим движением подняла ее лицо и поцеловала два раза:

– Танюша, милая, мы с тобой поговорим. Мы обо всем поговорим. Ты встретишь их, Таня, и увидишь сама. Отец будет рад. Ты ведь пойдешь на пристань, правда?

– А ты, мама?

Но мать отвернулась от ее внимательных глаз.

– Я, Таня, не могу. Ты ведь знаешь, мне всегда так некогда.

И, отвернувшись, она не видела, а только почувствовала, как Таня спрятала голову под ее слабую руку и крепко прижалась к ней.

– Мама, я люблю только тебя. Я буду всегда с тобой. Ни с кем никогда, никого мне не нужно. Я не пойду их встречать.

Это было удивительно, но цветы, которые Таня высадила на грядку, еще жили в то утро, когда должен был приехать отец.

Сердитый ли ручеек, вылившийся из бочки, так хорошо омыл их корни, или они просто были живучи, как многие цветы на севере, который не дает им запаха, хотя и оставляет долго жить, но, во всяком случае, они держались на своих высоких ножках, когда Таня взглянула на них. Она решила их никому не отдавать.

Она прогнала утку, усевшуюся среди цветов на грядке, и посмотрела вверх на каланчу. Деревянная, она царила над этим городом, где по дворам на заре распевали лесные птицы. На ней еще не поднимали сигнального флага. Значит, парохода еще не было видно. Он мог и опоздать. Но Тане было мало дела до флага. Она вовсе не собиралась на пристань. А если она и перехватила свои тонкие волосы лентой и сменила платье, надев самое лучшее, то это могло быть и потому, что сегодня в самом деле праздник: начинается новый учебный год.

Но до школы еще так долго ждать!

Зачем же она поднялась так рано?

«Что же делать, если не спится», – сказала бы она матери, если бы та проснулась от скрипа двери в доме.

«Что же я могу поделать, – повторила б она, – если сегодня я вовсе не могу заснуть».

Но придет ли когда-нибудь пароход? Существует ли он на самом деле? Или это призрак, для которого вовсе нет никакого места, никакого срока и который плывет сейчас, может быть, по другой реке и другой туман стоит за его кормой?

Здесь, во дворе, тоже туманно немного. Еще ветви березы блестят от капель ночной сырости, ствол влажен – дерево еще не очнулось от сна.

Слишком рано вышла Таня из дому, очень рано. Однако слышны уже у переулка шаги, они топчут траву, они стучат по земле. Кто-то спешит уж на пристань. Брат ли идет встречать сестру, или отец спешит обнять сына, или просто рыбак ждет с пароходом вестей? А может быть, это и Филька торопится в последний раз перед школой половить у пристани ершей.

Таня присела на скамью у ворот.

Она слушала. И слух Тани чутко бодрствовал среди сонной травы, дремлющей под ее ногами, и сонных ветвей, дремлющих над ее головой.

И далекий свисток, такой далекий, что только в ожидании может сердце услышать его, коснулся слуха Тани. Это свистел пароход за Черным мысом, у маяка.

Таня открыла калитку и вышла и снова вошла во двор, постояв неподвижно у цветов. Не сорвать ли их все-таки, пока они еще живы и могут доставить радость отцу? Это ведь все, что у нее есть.

И Таня сорвала цветы – саранки и ирисы, еще прежде выращенные ею с заботой.

Затем она позвала собаку. Тигр охотно вышел с ней на улицу. Они прошли через весь город, который еще не совсем проснулся. Только одна каланча никогда не знала сна. Ее крошечная дверь, похожая на бойницу, была открыта навстречу ветру. И флаг был поднят и тянулся все в одну сторону – к реке.

К реке направлялись и прохожие, спешившие на пристань. Таня на секунду остановилась у спуска, чтобы сверху посмотреть на родную реку. О, какая светлая она, хотя темные от хвои горы рядом стоят, на берегу! О, какая большая! Даже тень от этих гор не может ее закрыть. Не по ней ли хотелось плыть Тане далеко в иные страны, где обитает дикая собака динго?

А пароход подходил все ближе. Черный, кряжистый, точно скала, он все же казался малым для этой реки, терялся в ее светлой равнине, хотя рев его, подобно урагану, сотрясал кедры на горах.

Таня стремглав бросилась по спуску вниз. Пароход уже отдавал причалы, чуть

навалившись на пристань, полную народу. На пристани тесно от бочек. Они повсюду – лежат и стоят, точно кубики лото, в которое только что играли великаны.

С парохода махали платками. Не ей ли это? Она побледнела. Она тоже помахала рукой, через силу подняв ее кверху. Ах, это просто забавно! Как в толпе она узнает отца, которого никогда в своей жизни не видала? И как он узнает ее? Она совсем не подумала об этом, когда бежала на пристань. Зачем поддалась она невольному желанию сердца, которое теперь так стучит, и не знает, что ему делать: просто умереть или стучать еще сильнее?

И вот стоит она теперь с жалкими цветами возле бочек, и старая собака лижет ее ноги, не в силах ей ничем помочь.

А прохожие проходят мимо.

Может быть, вот они – их трое: он в шляпе, блестящей от ворса, женщина стара, а мальчик высок и худ и в достаточной мере противен.

Но нет, они проходят мимо, никуда не глядят, никого не ожидая встретить.

Или, может быть, вот они – их тоже трое: он толст, в кепке из толстого сукна, она молода и некрасива, а мальчик тоже толст и противен еще в большей мере.

Да, кажется, они.

Таня шагнула вперед. Но взгляд человека был сух и недолог, а толстый мальчик показал рукой на цветы и спросил:

– Ты продаешь их?

Дрожа от обиды, Таня отошла в сторону. Она не вскрикнула. Она только спряталась за бочки и здесь простояла до самого конца. Никого уже не было на пристани. Не гремели доски под шагами. Все ушли? Чего стоять? Они просто не приехали сегодня.

Таня вышла из-за бочек. Уже матросы отправились в город, и мимо прошли санитары с носилками. Они уходили последними. Таня пошла с ними рядом. На носилках под суконным одеялом, вытянув ноги, лежал мальчик. Лицо его было багрово от жара. Однако он был в сознании и, боясь вывалиться, крепко держался за края носилок. От этого усилия или, может быть, от страха смущенная улыбка бродила на его губах.

– Что с ним? – спросила Таня.

– На пароходе заболел, малярия, – коротко ответил санитар.

Заметив Таню, идущую рядом, мальчик подавил свой страх, лег прямо и долгим, немного воспаленным взглядом посмотрел на Танино лицо.

– Ты плакала недавно? – спросил он вдруг.

Таня закрыла цветами свой рот. Она прижала их к лицу, словно эти несчастные саранки имели когда-нибудь приятный запах. Но что может знать этот больной мальчик о запахе северных цветов?

– Ты плакала, – твердо повторил он снова.

– Что ты, что ты! Тебе кажется это, – ответила Таня, кладя к нему на носилки цветы. – Я не плакала. Это какой-то толстый мальчишка бросил мне в глаза песком.

И человек, последним сбежавший с трапа на пристань, уже никого не увидел, кроме одинокой девочки, печально поднимающейся в гору.

V

Этот первый день в школе, радостный для всех других детей, был тяжелым днем для Тани. Она вошла одна на школьный двор, вытоптанный детскими ногами.

Сторож уже отзвонил.

Она толкнула тяжелую дверь. В коридоре, как и на дворе, было светло, пусто, тихо. Неужели она опоздала?

– Нет, – сказал ей сторож, – беги скорей. Учителя еще не расходились по классам.

Но она не в силах была бежать. Медленно, точно взбиралась на крутизну, шла она по

длинному, натертому воском коридору, а над ее головой висели плакаты. Во все десять огромных окон освещало их солнце, не утаивая ни единой запятой:

«Ребята, поздравляем вас с началом нового года. Добро пожаловать! Будем учиться отлично».

Маленькая девочка с тонкими косичками, завитыми на кончике, пробежала мимо Тани и на бегу обернулась к ней.

– Их бин, ду бист, эр ист! – прокричала она по-немецки и показала ей язык.

Какие тонкие, проворные ноги у этой крошечной девочки! Не прежняя ли это Таня, маленькая Таня, показала себе самой язык?

Но девочка уже исчезла за поворотом, а Таня остановилась у высоких дверей. Тут был ее новый класс.

Дверь была закрыта, и в классе шумели.

И этот шум, как милый шум реки и деревьев, с ранних лет окружавший ее, привел в порядок ее мысли.

Она, словно мирясь сама с собой, сказала:

– Ну ладно, забудем все.

Она распахнула дверь. Громкий крик встретил ее на пороге.

А она уже улыбалась. Так человек, вошедший с морозу в избу и еще не различая с холода ни лиц, ни предметов в доме, все же улыбается заранее и тепло и словам, которые еще не сказаны, но которые – он знает – не будут враждебны ему.

– Таня, к нам! – кричали одни.

– Таня, с нами садись! – кричали другие.

А Филька сделал на парте стойку – прекрасную стойку, которой мог бы позавидовать каждый мальчик, хотя вид у него был при этом печальный.

А Таня все улыбалась.

Она выбрала Женю в подруги и села с ней рядом, как в лагере у костра, а Филька поместился сзади.

И в ту же минуту в класс вошла Александра Ивановна, учительница русского языка.

Она поднялась на кафедру и тотчас же сошла с нее.

«Ибо, – подумала она, – если четыре крашенные доски могут возвысить человека над другими, то этот мир ничего не стоит».

И, тщательно обойдя кафедру, она приблизилась к ученикам настолько, что между ними и ею уже не было никаких преград, кроме собственных недостатков каждого.

Она была молода, лицо у нее было свежее, взгляд светлый и спокойный, невольно привлекавший к себе внимание самых отчаянных шалунов. И всегда на ее черном платье сияла маленькая звездочка, выточенная из уральского камня.

И странно: ее свежесть и молодость дети никогда не принимали за неопытность, над которой они не упустили бы случая посмеяться. Они никогда не смеялись над ней.

– Ребята! – сказала она, после долгого летнего перерыва пробуя свой голос. Он был у нее по-прежнему глубок и тоже невольно привлекал к себе внимание. – Ребята! – сказала она. – Сегодня праздник – мы начинаем учиться, и я рада, что снова с вами, снова буду вашим классным руководителем – вот уже который год. Все вы выросли за это время, а я немного постарела. Но все же учились мы всегда отлично.

И она, разумеется, до конца сказала бы все, что полагалось сказать детям перед началом нового года, если бы в класс в это время не вошли два новых ученика. Это были те самые мальчики, которых Таня встретила на пристани утром. Один – худой и высокий, другой – низенький, с толстыми щеками, придававшими ему вид настоящей бестии.

Все посмотрели на них с любопытством. Но никто из этих сорока мальчиков и девочек, беспокойно сидевших на партах, не поглядел на них с таким ожиданием, как Таня. Вот сейчас она узнает, кто из них причинил ей муку, гораздо большую, чем страх. Может быть, все-таки это Коля.

Учительница спросила, как их зовут.

Толстый мальчик ответил:

– Годилю-Годлевский.

А худой сказал:

– Борщ.

«Значит, в самом деле „они“ не приехали, – подумала с облегчением Таня и снова сказала себе: – Ладно, пока забудем все».

Зато учительнице смех, зазвеневший в классе, не возвещал хорошего начала. Однако она сказала:

– Итак, мы начнем занятия. Я надеюсь, что за лето, ребята, вы ничего не забыли.

Филька громко вздохнул.

Учительница секунду смотрела на него. Но взгляд ее не был строгим. Она решила быть сегодня снисходительной к детям. Все же это их праздник, и пусть кажется им, что сегодня она у них в гостях.

– Что ты вздыхаешь, Филька? – спросила она.

Филька поднялся со скамьи.

– Я встал на рассвете сегодня, – сказал он, – чтобы написать своему другу письмо, и отложил его в сторону, потому что забыл, какие знаки нужно поставить в таком предложении: «Куда ты утром так рано уходила, дружок?»

– Плохо, если ты забыл, – сказала учительница и посмотрела на Таню.

Та сидела с опущенным взглядом. И, приняв этот взгляд за желание избежать ответа, Александра Ивановна сказала:

– Таня Сабанеева, не забыла ли ты, какие знаки препинания нужны в этом предложении? Скажи нам правильно.

«Что ж это! – подумала Таня. – Ведь он обо мне говорит. Неужели же все, и даже Филька, так жестоки, что ни на минуту не дают мне забыть того, что всеми силами я стараюсь не помнить!»

И, так думая, она ответила:

– В предложении, где есть обращение, требуется запятая или восклицательный знак.

– Вот видишь, – обратилась к Фильке учительница, – Таня отлично помнит правило. Ну-ка иди к доске, напиши какой-нибудь пример, в котором было бы обращение.

Филька, подойдя к доске, взял в руки мел.

Таня сидела по-прежнему с опущенным взглядом, чуть заслонившись рукою. Но и заслоненное рукою лицо ее показалось Фильке таким убитым, что он пожелал себе провалиться на месте, если это он своей шуткой причинил ей хоть какое-нибудь огорчение.

«Что с ней делается?» – подумал он.

И, подняв руку, мелом написал на доске: «Эй, товарищ, больше жизни!»

Учительница развела руками.

– Филька, Филька, – сказала она с укоризной, – все ты забыл, решительно все! Какие уж там запятые! Почему ты слово «товарищ» пишешь с мягким знаком?

– Это глагол второго лица, – ответил без смущения Филька.

– Какой глагол, почему глагол? – вскричала учительница.

– Конечно, глагол второго лица, – с упрямством ответил Филька. – «Товарищ! Ты, товарищ, что делаешь?» Отвечает на вопрос «что делаешь?».

Громкий хохот прошелся по всем скамьям, заставив Таню поднять лицо. И когда Филька снова взглянул на нее, она уже смеялась своим милым смехом громче всех остальных.

Филька, чуть ухмыльнувшись, стряхнул со своих пальцев мел.

Филька был доволен.

А учительница с недоумением следила за ним, слегка прислонившись к стене.

Как этот мальчик, которого она ценила за его быстрый ум и находчивость, мог быть доволен своей грубой ошибкой? Нет, тут кроется нечто другое. Дети обманывают ее. А она-то думала, что хорошо знает детское сердце!

VI

Те редкие минуты, когда после работы мать выходила во двор отдохнуть на траве возле грядки, были самые отрадны для Тани. Пусть осенняя трава уже тонка и плохо устилает землю, пусть грядки пусты, а все же хорошо! Таня ложилась с матерью рядом и клала свою голову на ее бедро. И тогда вдвое мягче становилась трава, вдвое светлее небо. Они обе подолгу и безмолвно глядели вверх, где на страшной высоте над рекой, сторожа рыбу в лимане, постоянно парили орлы. Они стояли неподвижно, пока самолет, пролетающий в небе, не заставлял их чуть отодвинуться в сторону. Тогда стук мотора, смягченный лесами, долетал до двора еле слышным гулом. А когда он внезапно стихал или подобно странному облаку медленно таял над двором, обе продолжали молчать.

Но сегодня, прислушавшись к этому звуку, мать сказала:

– Какой далекий путь лежит между нами! Значит, они не приехали.

Таня не прервала своего молчания.

Мать, протянув руку к грядке, где уже не было ничего, кроме пустых стебельков, сказала:

– Ирисы – куда же девались они? А как здесь было красиво, на твоей маленькой клумбе! Неужели эта прожорливая утка склевала все цветы?

– Я сама прогнала ее утром, – сказала Таня, оставаясь лежать неподвижно.

– Саранки, – повторила мать, – они ведь не растут под Москвой. Отец очень любил наши цветы, и мне так хотелось, чтобы ты поднесла их ему!

Таня ничего не сказала, и мать добавила:

– Он добрый и хороший человек.

Таня быстро поднялась, и села, и снова склонилась к земле, прилегла на бедро матери.

– Ты хотела что-то сказать мне? – спросила мать.

– Если он добрый человек, – сказала Таня, – так почему же он оставил нас?

Мать шевельнулась на траве, отодвинулась, точно острый камень попал ей случайно под локоть. А Таня, мгновенно почувствовав жестокость своих слов, стала на колени, целуя платье матери, ее лицо и руки.

Ведь как было хорошо и спокойно обеим, когда они молчали, лежа на этой редкой траве, в этом тесном дворике, на котором нет ничего, кроме неба! И одно только слово «отец» лишило их желанного покоя. Так как же ей любить его?

– Мама, – говорила Таня, – я больше не буду. Не надо. Как хорошо, что они не приехали к нам! Как это хорошо! Разве нам плохо вдвоем? А что цветы! Я посажу другие. Я соберу семена – я знаю в лесу болото, я все сделаю, и во дворе у нас будет снова красиво – красивее во много раз.

Так бормотала она, не зная, что говорит, не слыша ни стука щеколды на калитке, ни голоса матери, уже несколько раз повторявшего ей:

– Да открой же, Таня! Кто-то не может открыть. Наверно, из больницы прислали.

Наконец Таня поднялась на ноги, услышала шаги у ворот и подошла к калитке. Право же, ей не хотелось никому открывать, даже больным.

Она сердито спросила:

– Вам кого нужно? К доктору? Вы больной?

Но перед ней стоял здоровый человек, высокий и веселый. Он был в сапогах, в шинели полковника и ни о чем не спрашивал, а только смотрел ей в лицо улыбаясь. Как это было странно!

И вдруг за спиной услышала она слабый крик матери. Таня чуть прикрыла глаза и прижалась к воротам.

«Отец!»

Она поняла это в то же мгновение.

Он шагнул через доску, лежащую на земле, подался немного вперед, будто склонился над матерью, будто хотел ее поцеловать. Она отступила назад и протянула только руку. Он покорно принял ее и подержал в своих ладонях. Другой рукой мать показала на Таню. Он повернулся так быстро, что скрипнули ремни его портупеи. Он и ей протянул свои большие, широкие открытые ладони. Таня шагнула к нему. Она была бледна и глядела на него с испугом. Он целовал ее в лоб, прижимал ее голову к себе. Сукном пахло от него – сукном и ремнями.

Потом он сказал:

– Ты такая большая. Тебе бы следовало принести цветы. А я принес конфеты.

Он засунул руку в карман, чтобы вытащить из него коробку. Но карман был тесен, а коробка большая – ее не пускала подкладка. Он рвал ее пальцами, он мял коробку, он трудился. Лицо его стало красным. Он даже потихоньку стонал. А Таня ждала, все больше бледнея. И, глядя на его лицо, как у ребенка покрывшееся испариной, она думала: добрый он человек или нет.

И вот он вынул коробку, протянул ее Тане. И Таня взяла, не зная, что с нею делать, – она ей тоже мешала.

Она положила коробку на старые сани возле бочки, полной воды, и капли тотчас же начали ее точить. Они стучали, как гром, в безмолвии, стоявшем на дворе. Потом пришла собака, пришла кошка Казак и котята – и все они тоже пытались обнюхать коробку.

Мать потихоньку качала головой. В раздумье посмотрела она на коробку и унесла ее в дом. А Таня осталась на дворе.

Отец обнял ее еще раз.

Теперь, когда борьба его с конфетами кончилась, он заговорил. Он был возбужден и говорил очень громко, все время напряженно улыбаясь:

– Как жаль, что тебя не было на пристани! Мы с тетей Надей ждали тебя. Правда, мы немного задержались на пароходе. Коля заболел малярией. Пришлось ждать санитаров, которые отнесли бы его. И представь себе, какая-то девочка дала ему на пристани цветы. Это были саранки, которых я не видел уже много лет. Да, представь себе, она положила цветы на носилки. Ему так хотелось, чтобы это была ты! Но тебя не было.

Таня поднесла руку к виску, надавила на него пальцами, словно хотела остановить кровь, приливающую к ее лицу, и отстранилась немного подальше.

– Ты что, Таня? – спросил отец.

– Папа, не говори так громко, – сказала она. – Я очень хорошо тебя слышу.

И собственный дворик Тани ошеломил ее вдруг тишиной.

Отец замолчал. Его возбужденное лицо стало строгим. Улыбка исчезла с губ. А глаза все же оставались добрыми. Он кашлянул. И странно, этот кашель был знаком уже Тане. Она сама так порывисто кашляла, когда грустные мысли, как холодный вихрь, внезапно посещали ее.

Он пристально глядел на Таню, тихонько сжимал ее плечо.

– Я знаю, что ты на меня сердишься, Таня, – сказал он. – Но ведь мы будем большими друзьями, правда?

– Пойдемте пить чай, – сказала Таня. – Вы хотите чаю?

– Ого! Вот ты у меня какая! – тихо промолвил отец, чуть сильнее нажимая на плечо Тани.

Она поняла его и поправилась.

– Пойдем к нам пить чай, папа, – сказала она. И слезы запросились у нее из глаз. – Ведь я еще не привыкла, папа.

Он оставил ее плечо и рукою провел по щеке Тани.

– Да, ты права, Танюша, – сказал он еле слышно. – Трудно это все в пятнадцать лет, трудно, брат. А все-таки мы будем друзьями. Пойдем пить чай.

И впервые на деревянном низеньком крылечке Таниного дома зазвучали иные шаги, чем она привыкла слышать, – тяжелые шаги мужчины, ее отца.

VII

Когда в школе спросили у Тани, не приходится ли ей родственником или двоюродным братом Коля Сабанеев, поступивший к ним в класс, то одним она сказала – да, другим сказала – нет, и так как это было все равно для многих, то вскоре ее перестали спрашивать.

А Филька, потратив столько напрасных усилий на поиски страны Маросейки, больше ни о чем не спрашивал Таню.

Но зато он сидел на парте как раз за спиною Тани и мог смотреть на ее затылок сколько ему было угодно. Однако и затылок может кое-что рассказать. Он может быть холодным и жестким, как камень, из которого Филька высекал в лесу огонь. Он может быть нежным, как стебель одинокой травы.

Затылок Тани был и таким и другим, чаще всего выражая одно ее желание – не думать о том, что делается у нее позади.

А позади на скамье сидели Филька и Коля.

К кому же из них относится это упорное желание Тани?

И так как Филька смотрел на вещи всегда с хорошей стороны, то решил, что относится это прежде всего не к нему. Что же касается Коли, то если его Таня назвала тогда гордым, Филька должен был признать, что это неправда. Он не находил его гордым. Он, может быть, несколько слаб здоровьем, слишком узки у него руки, слишком бледно лицо, но гордым он не был – это видели все.

Когда Филька показал ему впервые, как жуют у них в школе серу, Коля только спросил:

– Что это?

– Это пихтовая смола, – ответил ему Филька. – Ты можешь достать ее у китайца, который торгует на углу липучками. За полтинник он даст тебе целый кубик серы.

– А что такое липучки? – спросил Коля.

– Э, брат! – ответил ему с досадой Филька. – Все ты хочешь сразу узнать.

И Коля не обиделся на замечание Фильки.

– Хорошо, – сказал он, – я узнаю после. Но странный этот обычай в вашей школе. Я нигде не видел, чтобы жевали пихтовую смолу.

Но все же серы купил много и угостил Фильку и сам пожевал, научившись очень скоро так же громко щелкать ею на зубах, как и другие.

Он предложил пожевать и Тане с радушием, к которому она не могла придаться. Она через силу улыбнулась ему, показав свои зубы, сверкающие как снег.

– Не благодаря ли этому обстоятельству, – сказал он, – у вас всех здесь такие белые зубы? Эта сера хорошо очищает их.

Все слова его показались ей отвратительными.

– Ах, благодаря этому обстоятельству отстань от меня! – сказала она.

Он промолчал и усмехнулся.

Он посмотрел на нее светлыми, как лед, глазами, и Таня впервые увидела, что взгляд их упрям.

– Да, благодаря этому обстоятельству, – повторил он спокойно.

Была ли это настоящая ссора, Таня не могла решить, но именно с этих пор началась их вражда, и этот болезненный мальчик стал занимать ее ум более, чем в первые дни.

По выходным дням Таня обедала у отца.

Она отправлялась мимо городской рощицы, стоявшей близко за ее домом, и выходила

на дорогу, ведущую в крепость. Дорога не была прямой. Она бежала по берегу, поворачивая то вправо, то влево, точно поминутно оглядывалась на реку, которая, растолкав в разные стороны горы, расстилалась под ней далеко.

Таня шла не торопясь, тоже часто оглядываясь на реку. Если на дороге было тихо, то слушала шипение глиняных глыб, оседавших под берегом в воду. И собака ее тоже прислушивалась к этому звуку. Она ходила за ней повсюду.

Так через полчаса они подходили к дому отца.

Дом был крайний из всех, где жили командиры. Окропленные известью камни устилали дорожки, но и сквозь известь пробивалась трава, только чуть побеленная на концах своих перышек.

Шума не было тут. И стеклянные двери были всегда открыты.

Через эту стеклянную дверь Таня входила в дом, а собака оставалась у двери. Как часто Тане хотелось, чтобы она осталась у двери, а собака вошла в дом!

Меж тем все в этом доме относились к ней ласково.

Надежда Петровна первая встречала Таню на пороге. Тихая, простая в обращении, с милым лицом, она трепала Таню по плечу или целовала в голову, каждый раз повторяя одно и то же:

– Ага, вот и Таня пришла!

И хотя голос ее был мягок при этом, но сердце Тани против воли переполнялось недоверием через край.

«Зачем она смотрит на отца, когда целует меня? – думала Таня. – Не затем ли, чтобы показать ему: „Вот видишь, я ласкаю твою дочь, и ты теперь ничего не можешь сказать мне, и она тоже ничего не может сказать“».

При одной только мысли об этом у Тани тяжелел язык, глаза переставали слушаться – она не могла посмотреть прямо в лицо отцу.

И только подойдя к нему, ощущая его руку в своей, она чувствовала себя спокойней.

Она могла тогда и Коле сказать:

– Здравствуй!

– Здравствуй, Таня! – отвечал он приветливо, но не раньше и не позже той минуты, когда она кивнет ему головой.

Отец же ничего не говорил. Он только касался легонько ее щеки и потом торопил обедать.

Обедали весело. Ели картошку с олениной, которую покупали сами у проезжих тунгусов. Ссорились из-за лучших кусков, смеялись над Колей, который засовывал целую картошку в рот, и ругали его за это, а иногда отец даже ударял его пальцами по носу так больно, что нос немного припухал.

– Папка, – говорил тогда Коля, хмурясь, – перестань так глупо шутить! Я уже не маленький!

– Это верно, шалопай ты не маленький, – говорил отец. – Все вы уже большие очень. Просто так не перескочишь через вас. Поглядим только, что вы запоете, когда подадут пирожки с черемухой.

И отец лукаво посматривал на Таню.

А Таня думала:

«Что пирожки с черемухой, если я знаю, что он никогда не будет меня любить, как Колю, никогда не назовет меня шалопаем, не ударит по носу, не отнимет лишнего куска! Да и я сама никогда не назову его „глупым папкой“, как этот жалкий подлиза. Неужели пирожками с черемухой можно меня обмануть!»

И сердце ее опять начинало понемногу щемить – наполняться обидой.

А в то же время все привлекало ее тут. И голос женщины, повсюду раздававшийся в

доме, ее стройный стан и доброе лицо, всегда обращенное к Тане с лаской, и большая фигура отца, его ремень из толстой коровьей кожи, постоянно валявшийся на диване, и маленький китайский бильярд, на котором они все играли, позванивая железным шариком по гвоздям. И даже Коля, всегда спокойный мальчик, с упрямым взглядом совершенно чистых глаз, привлекал ее к себе. Он никогда не забывал оставить кость для ее собаки.

Но о ней самой – казалось Тане – он никогда не помнил, хотя и ходил вместе с ней в школу, и обедал, и играл на бильярде. И все же он не давал себе труда думать о ней хотя бы только для того, чтобы ненавидеть ее так же, как она ненавидела его.

Так почему же, однако, согласилась она пойти с ним на рыбную ловлю и показать место, где клюют лещи?

VIII

Таня любила звезды – и утренние, и вечерние, и большие летние звезды, горящие низко в небе, и осенние, когда они уже высоки и их очень много. Хорошо идти тогда под звездами через тихий город к реке и увидеть, что и река полна этих самых звезд, как будто насквозь просверлена ими темная и тихая вода. А потом сесть на берегу, на глину, наладить удочки и ждать, когда начнется клёв, и знать, что ни одна минута, отпущенная законом охоты на ловлю, тобой не потеряна зря. А рассвета все нет, и солнце еще не скоро протащит туман над рекой. Еще сначала будут клубиться в тумане деревья, и после уже задымится вода. А пока можно думать о чем угодно: о том, что делает теперь под кустом бурундук, и спят ли когда-нибудь муравьи, и бывает ли им холодно перед утром.

Да, хорошо было на исходе ночи.

Но сегодня, когда Таня проснулась, звезд уже было мало: одни ушли совсем, а другие уже бледно горели на краю горизонта.

«Вряд ли будет хорошо, – подумала Таня, – ведь Коля собирался с нами».

И тотчас же она услышала стук. Это в окошко стукнул два раза Филька.

Таня в темноте надела платье, накинула на плечи платок и, распахнув окно, выскочила прямо во двор.

Филька стоял перед нею. Глаза его в бледном сумраке были странного цвета, блестели точно у безумного, а удочки лежали на плече.

– Ты что же так поздно? – спросила Таня. – С вечера червей не накопал?

– А ты попробуй накопи их в городе! – хрипло сказал Филька. – Еще не поздно, как раз придем.

– Да, это правда, – сказала Таня, – с червями у нас плохо дело. Удочку мою взял?

– Взял.

– Ну что, пойдем? Чего ждать!

– А Коля? – спросил Филька.

– Ах да, Коля! – И Таня даже поморщилась немного в темноте, словно совсем забыла о Коле, словно не вспомнила о нем в ту самую минуту, как проснулась и поглядела в окно на звезды. – Мы подождем его в переулке на набережной, – сказала она и тихо свистнула своей старой собаке.

Та даже не шевельнулась под сеньями, не переместила даже лап. Только взглянула на Таню, будто хотела сказать ей: «Хватит! Разве мало ходила я с тобой на реку летом за рыбой, зимой на каток и разве не я так часто таскала в зубах твои стальные коньки! А теперь уж хватит. Ты подумай только, куда я пойду в такую слепую рань!»

И Таня поняла ее отлично.

– Ладно, – сказала она, – лежи.

«Но, может быть, кошка пойдет?»

Таня позвала:

– Казак!

Кошка поднялась и пошла со всеми своими котятами.

– Зачем она тебе? – спросил Филька.

– Молчи, молчи, Филька, – сказала Таня. – Она не хуже нас с тобой знает, зачем мы идем на реку.

И они пошли, все углубляясь в утро, как в волшебный лес, выраставший перед ними внезапно. Каждое деревце в роще казалось клубом дыма, каждый дымок, тянувшийся из труб, превращался в причудливый куст.

На углу у спуска они подождали Колю. Он долго не шел, и Филька дул себе на руки: холодно было ночью добывать червей – копать в остывшей земле. А Таня со злорадством молчала. Но и ее озябшая фигурка с открытой головой, тонкими волосами, от влаги завившимися в кольца, будто говорила: «Вот посмотрите, какой он, этот Коля, есть?»

Наконец они увидели его. Он выходил из переулка. Он не торопился ничуть. Он подошел, стуча ногами, и снял удочку с плеча.

– Простите, пожалуйста, – сказал он, – я запоздал. Вчера меня затащила к себе Женья. Она тоже показывала мне разных рыб. Только она их держит в аквариуме. А есть красивые рыбки. Одна совсем золотая, с длинным черным хвостом, похожим на платье. Я загляделся на нее... Так что простите уж меня, пожалуйста.

Таня задрожала от гнева.

– «Простите, пожалуйста!» – повторила она несколько раз. – Какая вежливость! Ты бы лучше не задерживал нас. Из-за тебя мы прозевали клев.

Коля промолчал.

– Мы еще не прозевали клев, время есть. Это наверху светло, а на воде еще не видно поплавок. Зачем же ты сердишься? – сказал Филька, более опытный, чем они.

– Я потому сержусь, что не люблю очень вежливых, – ответила Фильке Таня. – Мне всегда кажется, что они меня хотят обмануть.

– А я, например, – сказал Фильке Коля, – не люблю кошек никаких: ни тех, которые ходят ловить рыбу, ни тех, которые не ходят никуда. Однако я из этого не делаю никакого вывода.

И Филька, сердце которого не выносило тяжести ссор, с грустью посмотрел на обоих.

– Почему вы ругаетесь всегда – и тут и в классе? А я вам вот что скажу: перед охотой ссориться – так лучше остаться дома. Так говорит мой отец. А он знает, что говорит.

Коля пожал плечами:

– Я не знаю... Я никогда не ссорюсь с ней. Но всегда она. А между тем отец говорит, что мы должны быть друзьями.

– Это необязательно, что говорит отец, – сказала Таня.

Филька еще печальнее посмотрел на нее. И даже Коля был удручен ее словами, хотя не показал виду.

– Нет, я не согласен, – заметил Филька. – Мой отец охотник, он говорит со мной мало. Но все, что скажет, – правда.

– Вот видишь, – сказал Коля, – даже Филька, твой верный Санчо Панса, не согласен с тобой.

– Почему же он Санчо Панса? – спросила насмешливо Таня. – Уж не потому ли, что ты недавно прочел «Дон-Кихота»?

– Нет, «Дон-Кихота» я прочел давно, – ответил Коля спокойно, – но потому хотя бы, что он всегда носит твои удочки и копает для тебя червей.

– Потому что он в тысячу раз лучше тебя! – крикнула Таня, сильно покраснев. – Филька, не давай ему червей!

А Филька подумал:

«Черт возьми, они говорят обо мне, как об убитом медведе, а ведь я еще живой!»

Коля еще раз пожал плечами:

– И не надо, я сам накопаю на берегу и место найду для себя. Не надо мне твоих червей!

И он исчез под берегом, где кусты и камни скрыли его мгновенно из глаз. Только шаги

его долго звучали внизу, далеко на дорожке.

Таня смотрела ему вслед, уже не видя его. Белый туман поднимался ей навстречу с реки, шагал по глине, шуршал, наступая на листья, на траву и песок. И такой же белый туман стоял у нее на душе.

Филька с сокрушением глядел в ее лицо и молчал, не зная, что сказать. И наконец сказал правду:

– Что тебе нужно от него? Зачем ты к нему пристаешь? Я сижу с ним на одной скамейке рядом и знаю: никто тебе про него ничего дурного не скажет. И я не скажу. Я не видел в нем гордости, хотя он учится лучше других, даже лучше тебя. Я сам слышал, как он говорил по-немецки с учительницей немецкого языка и говорил по-французски. А ведь в классе об этом никто не знает. Так что же ты хочешь от него?

Таня ничего не ответила Фильке.

Она двинулась тихо вперед, навстречу реке, дремавшей внизу под туманом. И кошка с котятами тоже побрела вниз к реке.

А Филька шел следом за ними и думал: странный этот мальчик Коля! Пусть тысячи кошек ходят на реку добывать себе рыбу, пусть миллионы кошек! Но раз они с Таней, то разве ему, Фильке, от этого хоть капельку хуже? Нет, ему хорошо! И странная эта девочка Таня! Пусть Коля называет Фильку и Санчо и Панса, о которых он пока не слышал еще ничего плохого, но разве ему, Фильке, хоть на капельку хуже от этого? Нет, ему хорошо!

Так спустились они по крутому берегу и дошли до реки, до узких мостков, куда приставали шампунки¹, и увидели, что Коля сидит на досках как раз на том самом месте, где всегда клюют лещи.

– Нашел он таки его, это место! – сказал с радостью Филька, так как в душе был этим вполне доволен.

Он подошел к Коле, заглянул в его банку, где на ржавом дне лежала только горсть пустой земли, и, повернувшись, чтобы не видела Таня, всыпал туда немного земляных червей.

Но Таня все же увидела это и даже не открыла рта.

Она взяла свою удочку и червей, прошла на мостки и села почти рядом с Колей. А Филька ушел подальше, выбрав себе тоже неплохое местечко. На охоте он любил быть один.

И на минуту или, может быть, больше река завладела детьми и даже кошкой с котятами, с тех же самых мостков пристально глядевшими в воду.

А там, в глубине реки, делалось нечто странное. Будто чье-то дыхание поднимало из глубины туман, будто чьи-то невидимые руки, владевшие им всю ночь, отпустили его на волю, и он бежал теперь по поверхности реки, волоча над водой свои длинные ноги. Он бежал за солнцем, качаясь в вышине. А сама река светлела, все выше отодвигалось небо, глубина становилась видней. Рыба вышла пастись к берегам, и начался клев. Боже, какой был клев! Таня никогда такого не видала.

Но если ты смотришь не на свой поплавок, а на чужой, то рыба это отлично понимает. Она, может быть, в эту секунду издевается над тобой, повернувшись головой на струю.

А Таня поминутно поднимала глаза и смотрела на удочку Коли. Коля же смотрел на ее поплавок. И страх, что другой может поймать прежде, не давал им обоим покоя. Добыча срывалась с крючка, объедая приманку.

Коля первый поднялся на ноги, ничего не поймав. Он потянулся, зевнул, его кости хрустнули.

– Я так и знал, что ничего не выйдет, – сказал он вслух, не обращаясь, однако, к Тане.

¹ Рыбачья лодка китайского типа.

Несносно это гляденье в воду, хочется от этого спать. Уж лучше, как Женя, держать этих глупых рыб в аквариуме.

– Уж конечно, они глупые, – сказала Таня громко, – если принимают за воду обыкновенное стекло.

А Коля не знал, что бы еще сказать.

Он пошел по мосткам, даже пальцем не тронув своей удочки. Доски гнулись под его шагами. Кошка Казак, уже успевшая лапой натаскать на мостки изрядно мелкой рыбы, посмотрела на него осторожно. Она отодвинулась, уступая ему дорогу. Но котенок Орел, закачавшись на мокрой доске, с тихим плеском упал в реку. Был ли он так увлечен мальчиками, шнырявшими у самой доски, или слишком придвинулся к краю, не выпустив вовремя когтей, только Таня увидела котенка уже по другую сторону мостков, куда уносило его течение. Котенок захлебывался, а кошка с криком бегала по мокрому песку.

Таня вскочила на ноги, чуть коснувшись руками мостков, – так легка она была.

Она прыгнула на берег, вошла в воду, и река надула ее платье – оно стало похоже на венчик лесного цветка. Кошка тоже вошла в воду. А Коля остался на месте.

Таня протянула руку и взяла котенка в свою ладонь. Он стал меньше крысы. Рыжая шерсть его намокла, он уже еле дышал.

Таня положила котенка на камни, и кошка облизала его.

А Коля все стоял на месте.

– Ты нарочно сбросил его в реку! Я сама видела это! – крикнула Таня сердито.

Коля молчал.

«Может быть, он трус», – подумала Таня.

И тогда топнула на него ногой.

Но и это не заставило его шевельнуться. Он не мог вымолвить ни слова – так он был изумлен.

Таня бросилась прочь от него. Она бежала по тропинке в гору, и колени ее обнимало мокрое платье.

Коля догнал ее на самой вершине горы, у рыбацких домов, и здесь, задыхаясь, взял ее за руку.

– Таня, – сказал он, – поверь мне, я не хотел... это вышло нечаянно. Котенок сам упал в воду.

– Пусти меня, – сказала она, вырываясь. – Я больше не буду ловить! Я пойду домой!

– Тогда и я пойду.

Он отпустил ее руку и шагнул широко, чтобы не отставать.

– Не ходи за мной! – крикнула Таня.

Она остановилась у высокого камня, подпиравшего избушку рыбака.

– Но ты придешь к нам обедать? – спросил Коля. – Сегодня выходной. Папа будет ждать тебя. Он скажет – я тебя обидел.

– Вот ты чего боишься! – сказала Таня, прижавшись к высокому камню.

– Нет, ты не так поняла меня. Я ведь папу люблю, а он будет огорчен. Я не хочу его огорчать, не хочу, чтобы и ты его огорчала. Вот что ты должна понять.

– Молчи, – сказала она, – я отлично тебя поняла. Я не приду сегодня обедать. Я больше никогда к вам не приду.

Она свернула налево, и стена рыбацкого дома закрыла ее.

Коля сел на камень – его уже нагрело солнце, он был сух и тепел, и только в одном месте темнело сырое пятно. Это мокрое платье Тани коснулось камня, оставило на нем свой след.

Коля потрогал его.

«Странная девочка Таня, – подумал он, как и Филька. – Уж не полагает ли она, что я трус? Странная девочка, – решил он твердо. – Разве можно удивляться тому, что она сделает или скажет?»

И, снова положив руку на камень, он надолго задумался вдруг.

А Филька ничего не видел. Он сидел за мыском на глине и таскал густеру – плоских рыбок с черными глазами – и вытащил карпа с большой головой, которого тут же острым камнем убил на песке.

После этого он решил отдохнуть. Он взглянул на мостки. Два удилища качались над водою, лески были туго натянуты – на них ходила рыба, – но никого не было видно вблизи: ни Коли, ни Тани. И кремнистая тропинка была безлюдна.

Он посмотрел даже вверх, на горы. Но и над горами ходил только ветер, тоже пустынный, не нагонявший даже осенних облаков.

Одна лишь мокрая кошка с котятами брела с пристани в гору.

IX

Все же Таня пришла обедать. Она поднялась на крыльцо со стеклянной дверью и резко открыла ее, широко распахнув перед собой, а собака, ходившая с нею, осталась на крыльце.

Таня громко хлопнула дверью. В конце концов, это ее право приходить, когда хочется, в этот дом. Тут живет ее отец. Она ходит к нему. И пусть никто не думает, что она приходит сюда ради кого-нибудь другого или ради чего-нибудь другого, например ради пирожков с черемухой.

И Таня еще раз хлопнула дверью, более громко, чем когда-либо раньше.

Дверь зазвенела вся снизу доверху и запела своим стеклянным голосом.

Таня пошла и села на свое место за стол.

В доме уже обедали, и на столе стояла полная миска пельменей.

– Таня! – радостно закричал отец. – Ты пришла? А Коля сказал, что ты не придешь сегодня. Вот так славно. Ешь хорошенько. Тетя Надя сделала сегодня для тебя пельмени. Посмотри, как Коля их ловко слепил.

«Вот как, – подумала Таня, – он и это умеет делать!»

Она упорно смотрела на отца, на стену, на дружеские руки Надежды Петровны, протягивавшие ей то хлеб, то мясо, а на Колю взглянуть не могла.

Она сидела, низко склонившись над столом.

Коля тоже сидел на своем месте согнувшись, вобрав голову в плечи. Однако губы его морщились от усмешки.

– Папа, – сказал он, – зачем ты рассказал Тане, что я слепил эти пельмени? Теперь она и вовсе не будет есть.

– Вы разве ссоритесь? – спросил с тревогой отец.

– Что ты, папа! – ответил Коля. – Мы никогда не ссоримся. Ты же сам говорил, что мы должны быть друзьями.

– Ну то-то! – сказал отец.

А Коля, перегнувшись через стол к Тане, произнес шепотом:

– Кто же это говорил мне, что сегодня не придет обедать?

Таня ответила ему громко:

– Я вовсе не пришла обедать. Я не хочу есть. Нет, нет, я нисколько не хочу есть! – громко повторила она отцу и жене его, которые разом заговорили с ней.

– Как же ты не хочешь есть? – растерянно спросил отец еще раз. – А пельмени?

– Нет, спасибо, я уже пообедала с мамой.

– Не предлагай ей, папа, в третий раз, – сказал насмешливо Коля, – она все равно не будет есть.

– Что же, – с сожалением заметил отец, – не хочет – не будет. А напрасно: пельмени такие вкусные!

О, конечно, они чертовски вкусны, эти кусочки вареного теста, набитые розовым мясом, которые эти глупцы поливают уксусом. Разве поливают их уксусом, безумные люди! Их едят с молоком и посыпают сверху перцем и глотают, точно волшебный огонь, мгновенно оживляющий кровь.

Мысли Тани проносились в мозгу подобно маленьким вихрям, хотя сама она строго глядела на свою тарелку, где уже остывали пельмени. И голова ее тихо кружилась, потому что дома она не ела и потому что у нее были здоровые плечи, и крепкие руки, и крепкие ноги, только сердце ее не знало, что же ему нужно. И вот пришла она сюда, как слепая, в этот дом, и ничего не видит, ничего не слышит, кроме ударов своей крови.

Может быть, спор о науках успокоит ее.

– Папа, – сказала вдруг Таня, – а верно, что селедки в море соленые? Так говорил мне Коля. Он вовсе не признает зоологии.

– Что такое? Не понимаю, – спросил отец.

Коля перестал есть. Он вытер губы и провел рукой по своему лицу, выражавшему крайнее изумление. Он никогда этого не говорил. Однако изумление его быстро исчезло, как только он вспомнил, что еще утром решил ничему не удивляться – ни тому, что сделает, ни тому, что скажет Таня.

И через мгновение он снова спокойно и неподвижно смотрел на Таню чистыми глазами, в которых как будто с глубокого дна поднималась тихая усмешка.

– Да, не признаю, – сказал он. – Что это за наука: у кошки четыре ноги и хвост.

Лоб и щеки Тани побагровели. Она отлично знала, о какой кошке он говорит.

– А что же ты любишь? – спросила она.

– Математику люблю... Если две окружности имеют общую точку, то... Литературу люблю, – добавил он, – это наука нежная.

– Нежная, – повторила Таня.

И хотя у нее душа была склонна к искусствам и сама она любила и Диккенса, и Вальтера Скотта, и еще больше любила Крылова и Гоголя, однако с презрением сказала:

– А что это за наука: «Осел увидел соловья»?

Так говорили они, не улыбаясь своим собственным шуткам, с глазами, полными презрения друг к другу, пока отец, который не мог уяснить себе их спора, не сказал:

– Дети, не говорите глупостей, я вас перестаю понимать.

А голова у Тани все кружилась, громко стучало в ушах. Она хотела есть. Голод мучил ее. Он разрывал ей грудь и мозг и проникал, казалось, в каждую каплю крови. Она закрыла глаза, чтобы не видеть пищу. Когда же открыла их, то увидела, что со стола уже убирают. Убрали миску с пельменями, убрали хлеб и в стеклянной солонке соль. Только ее тарелка еще стояла на месте. Но и за ней уже потянулась Надежда Петровна. Таня невольно придержала тарелку рукой и тотчас прокляла свою руку.

– Ты что? – спросила Надежда Петровна. – Может быть, пельмени оставить тебе?

– Нет, нет, я только хотела дать собаке несколько штук. Можно?

– Сделай милость, – сказал отец, – отдай хоть всю тарелку, ведь это все твое.

Таня, нацепив на вилку несколько штук уже холодных пельменей, вышла на крыльцо. И здесь, присев на корточки перед старой собакой, она съела их один за другим, омывая слезами каждый.

Собака, ничего не понимая, громко лаяла. И этот громкий лай помешал Тане услышать шаги за спиной.

Руки отца внезапно легли на ее плечи. Каким пристальным взглядом посмотрел он в ее глаза и на ее ресницы! Нет, она не плакала вовсе.

– Я видел все сквозь эту стеклянную дверь, – сказал он. – Что с тобой, родная Таня? Какое у тебя горе?

Он поднял ее над землей и подержал так, будто на собственных руках хотелось ему взвесить, тяжело ли это горе дочери. Она потихоньку оглядывала его. Он казался ей еще очень далеким и большим, как те высокие деревья в лесу, которые она не могла охватить сразу глазами. Она могла только прикоснуться к их коре.

И Таня легонько прислонилась к плечу отца.

– Скажи мне, что с тобой, Таня, может быть, я помогу. Расскажи, чему ты бываешь рада, о чем грустишь и о чем ты думаешь теперь.

Но она ему ничего не сказала, потому что думала так:

«Вот у меня есть мать, и дом у меня есть, и обед, и даже собака и кошка, а отца у меня все-таки нет».

Разве могла она сказать ему это, сидя у него на коленях? Разве, сказав ему это, она не заставила бы его измениться в лице, может быть, даже побледнеть, как не бледнел он перед самым страшным штурмом – храбрый человек?

Но в то же время разве могла она знать, что теперь – спал ли он, бодрствовал ли – он не отбрасывал мысли о ней, что с любовью он произносил ее имя, которое прежде так редко вспоминал, что даже в эту минуту, держа ее на коленях, он думал: «Уплыло мое счастье, не качал я ее на руках»?

Что могла она знать?

Она только прислонилась к нему, прилегла немного на грудь.

Но сладко! Ах, в самом деле сладко лежать на груди у отца!

Хоть теперь и не весна, и крыльцо было влажно от холодных дождей, и тело дрогло под легкой одеждой на воздухе, но и в позднюю осень, в этот час, Тане было тепло. Она сидела долго с отцом, пока над дорогою в крепость, над белеными известкой камнями, над домом со стеклянной дверью зажигались ее родные созвездья.

Х

И дерево можно считать существом вполне разумным, если оно улыбается тебе весной, когда одето листьями, если оно говорит тебе: «Здравствуй», когда ты по утрам приходишь в свой класс и садишься на свое место у окна. И ты тоже невольно говоришь ему: «Здравствуй», хотя оно стоит за окном на заднем дворе, где сваливают для школы дрова. Но через стекло его отлично видно.

Оно сейчас без листьев. Но и без листьев оно было прекрасно. Живые ветви его уходили прямо в небо, а кора была темна.

Был ли это вяз, или ясень, или какое-нибудь другое дерево, Таня не знала, но снег, падавший сейчас, первый снег, который, как пьяный, валился на него, цепляясь за кору и за сучья, не мог удержаться на нем. Он таял, едва прикоснувшись к его ветвям.

«Значит, и по ним стремится тепло, как и во мне, как и в других», – думала Таня и легонько кивала ему.

А Коля отвечал урок. Он стоял у доски перед Александрой Ивановной и рассказывал о старухе Изергиль.

Его лицо было смышленным. Из-под крутого лба глядели веселые и ясные глаза. И слова, слетавшие с его губ, были всегда живыми.

Учительница с удовольствием думала о том, что этот новый мальчик ей никак не испортит класса.

– А я видел Горького, – сказал он неожиданно и сильно покраснел, так как ни одной капли хвастовства не выносила его душа.

Дети поняли его смущение.

– Расскажи! – крикнули они ему.

– Вот как! – сказала и Александра Ивановна. – Это очень интересно! Где ты видел его? Ты, может быть, разговаривал с ним?

– Нет, я видел его только сквозь деревья сада. Это было в Крыму. Но я плохо помню. Мне было десять лет, когда мы с папой приехали туда.

– Что же делал Алексей Максимович в саду?

– Он разжигал близ дорожки костер.

– Расскажи нам о том, что ты помнишь.

Он помнил немного.

Он рассказал о гористом крае на юге, где у серых дорог, нагретых солнцем, за изгородами, сложенными из камня, темнеют шершавые листья винограда, а по утрам кричат ослы.

И все же дети слушали его не шевелясь.

Только Таня одна, казалось, ничего не слыхала. Она все смотрела сквозь окно, где первый снег валился на голое дерево. Оно уже начинало дрожать.

«Виноград, виноград, – думала Таня. – А я, кроме елей и пихты, ничего не видала».

Она призадумалась, силясь представить себе не виноград, но хоть цветущую яблоню, хоть высокую грушу, хоть хлеб, растущий на полях. И воображение рисовало ей невиданные цветы и колосья.

Учительница, облокотясь на подоконник, уже давно следила за ней. Эта девочка, которую она любила больше других, начинала ее беспокоить.

«Уж не думает ли она о танцульках? Еще чудесная память ее не ослабела, но взгляд рассеян, и в прошлый раз по истории она получила только „хорошо“».

– Таня Сабанеева, ты не слушаешь на уроках.

Таня с трудом оторвала от окна свой взгляд, блуждавший в ее далекой мечте, и встала. Она еще была не здесь. Она еще будто не пришла из своей незримой дали.

– Что же ты молчишь?

– Он рассказывает неинтересно.

– Это неправда. Он рассказывает хорошо. Мы все слушаем его с удовольствием. Разве ты была когда-нибудь в Крыму и видела Алексея Максимовича Горького? Подумай только – живого Горького!

– Мой отец меня туда не возил! – сказала Таня дрожащим голосом.

– Тем более тебе следует слушать.

– Я не буду его слушать.

– Почему же?

– Потому что это не относится к уроку русского языка.

Бог знает что она говорила.

Учительница медленно отошла от окна. Ее легкие, обычно тихие шаги зазвучали громко по классу. Она шла к Тане, огорченная, и взгляд ее сурово блестел, устремленный неподвижно вперед.

Таня покорно ждала.

– Передашь после уроков отцу, чтобы он пришел ко мне завтра, – сказала Александра Ивановна.

Она строго взглянула на Таню, на ее пылающий лоб и губы, и удивилась, как побледнели внезапно эти губы, только что сказавшие такие дерзкие слова.

– Я передам матери, она придет, – тихо сказала Таня.

Учительница медлила. Она все думала: «Что с ней происходит? – и не находила полного ответа в словах Тани. – Или этот мальчик трогает ее существо?»

Она решила сходить к ней домой. Рука ее поднялась и коснулась пальцев Тани.

– Ты не обманешь меня своей дерзостью. Пусть никто не приходит. Я прощаю тебя на этот раз. Но знай: ты сейчас поступила не как пионерка. Ты думаешь не то, что говоришь. А ведь ты всегда была справедлива. И что с тобой, мне непонятно.

Она, все еще огорченная, отошла к своей кафедре.

Все оставались неподвижны и молчали. Только девочка Женя обернулась назад так быстро, что чуть не свихнула своей толстой шеи.

– Таня просто в него влюблена, – сказала она шепотом Фильке.

Он толкнул ее ногой.

Но что подделаешь, если эта болтушка была так глупа, если в ее голове, покрытой курчавыми волосами, не было никакой фантазии!

А Таня все стояла, держась руками за парту. Пальцы ее бессильно дрожали. Она могла бы упасть, если б воля ее молчала, как молчал ее скованный язык.

– Чего ж ты стоишь? Садись, – сказала Александра Ивановна.

– Разрешите мне сесть на другую парту.

– Зачем? Разве с Женей тебе неудобно сидеть?

– Нет, удобно, – сказала Таня, – но это дерево в окне всегда развлекает меня.

– Садись. Какая ты, однако, странная!

И Таня села на последнюю парту, где не было никого, кроме нее.

– Садись и ты, Коля, – сказала учительница.

Она вовсе забыла о нем, занятая мыслями о Тане. Но и теперь, когда она вспомнила, он не сошел с места.

Он стоял, немного подавшись вперед, будто под ним был не гладкий пол, а крутая тропинка, ведущая на высокую гору; лицо его было красно, а упрямый взгляд прищурен.

– Хорошо, Коля, – сказала учительница. – Садись. Я тебе ставлю «отлично».

– Разрешите мне сесть на место Сабанеевой Тани?

– Да что это с вами?

Но все же она разрешила.

И он сел на скамью рядом с девочкой Женей из одного лишь упрямства.

Таня осталась одна. Она посмотрела в окно, в самом деле надеясь не увидеть дерева. Но и отсюда оно было видно. Первый снег уже покрыл основание его ветвей. Он больше не таял. Первый снег кружился над его головой, исчезающей в туманном небе.

XI

«Если человек остается один, он рискует попасть на плохую дорогу», – подумал Филька, оставшись совершенно один на пустынной улице, по которой обычно возвращался вместе с Таней из школы.

Целый час прождал он ее, стоя на углу возле лотка китайца. Липучки ли из сладкого теста, грудой лежавшие на лотке, сам ли китаец в деревянных туфлях отвлек внимание Фильки, но только теперь он был один и Таня ушла одна, и это было одинаково плохо для обоих.

В тайге Филька бы знал, что делать. Он пошел бы по ее следам. Но здесь, в городе, его, наверно, примут за охотничью собаку или посмеются над ним.

И, подумав об этом, Филька пришел к горькому заключению, что он знал много вещей, которые в городе были ему ни к чему.

Он зная, например, как близ ручья в лесу выследить соболя по пороше, знал, что если к утру хлеб замерзнет в клети, то можно уже ездить в гости на собаках – лед выдержит нарту, и что если ветер дует с Черной косы, а луна стоит круглая, то следует ждать бурана.

Но здесь, в городе, никто не смотрел на луну: крепок ли лед на реке, узнавали просто из газеты, а перед бураном вывешивали на каланче флаг или стреляли из пушки.

Что же касается самого Фильки, то его заставляли здесь вовсе не выслеживать зверя по снегу, а решать задачи и находить в книге подлежащее и сказуемое, у которых даже самый лучший охотник в стойбище не нашел бы никаких следов.

Но пусть Фильку считают собакой кому это угодно и пусть смеются над ним сколько хотят, а на этот раз он все-таки сделает по-своему.

И Филька присел на корточки посреди улицы и проверил все следы, какие только видны были на снегу. Хорошо, что это был первый снег, что он упал недавно и что по этой улице почти никто не ходил.

Филька поднялся с корточек и пошел, не отрывая взгляда от земли. Он узнал их всех, кто тут был, словно они прошли перед его глазами. Вот одинокие следы Тани, лежащие у

самого забора, – она шла впереди одна, стараясь ступать осторожно, чтобы не очень топтать ногами этот слабый снег. Вот следы Жени в калошах и Коли – у него неширокий шаг, которому только упрямство и придает отпечаток твердости.

Но как странно они себя вели! Сворачивали, подстерегали Таню и снова догоняли ее. Похоже на то, что они смеялись над ней. А она все шла и шла вперед, и беспокойно было у нее на сердце. Разве такие следы оставляет она на дворе у Фильки или на песке у реки, когда вдвоем они ходят ловить окуней?

Но куда исчезла она?

Следы Тани кончались внезапно на месте, где не было видно ни крыльца, ни калитки в заборе. Она, точно ласточка, поднялась прямо на воздух. Или, может быть, этот самый воздух, темный от первого снега, увлек ее вверх, как лист, и кружит теперь в облаках и качает? Не могла же она, в самом деле, перепрыгнуть через такой высокий забор!

Филька постоял секунду, потом пошел дальше по следам Жени и Коли – они шли рядом сначала, а на углу расходились в разные стороны, не очень довольные друг другом.

«Они поссорились», – подумал Филька и вернулся назад, смеясь.

У забора он снова постоял в раздумье над следами Тани и поднял руку вверх.

«Да, на краю забора есть выступ, за который можно схватиться рукой. И у Тани сильные ноги, – сказал себе Филька. – Но у меня должны быть вдвое сильнее. Иначе пусть физкультурник наш закопает меня в землю живым».

И Филька, перекинув сумку с книгами, подпрыгнул так высоко, что старуха, проходившая мимо, назвала его «чистый демон».

Но Филька уже этого не слышал. Он был за забором и шел по чужому огороду дальше, рядом со следами Тани.

В конце огорода он перескочил еще через один забор, уже не такой высокий, и вышел к рощице, которая была близко от дома. Тут обогнул он кусты невысокой калины, ронявшей ягоды в снег, и поглядел на рощу. Вся белая от шелковистых каменных березок и молодого снега, она показалась ему вымыслом, который никогда и не снился ему, всегда окруженному лесом. Каждая ветвь была резка, словно отчеркнута мелом, стволы как бы дымились, светлые искры пробегали по их коре. И в этой серебряной роще, среди неподвижных деревьев, неподвижно стояла Таня и плакала. Она не слыхала ни звука его шагов, ни шума раздвигаемых веток.

Филька отодвинулся за кусты, скрывавшие его, как стена, и посидел на снегу недолго. Потом потихоньку отполз и бесшумно зашагал назад.

«Если человек остается один, – снова подумал Филька, – то он, конечно, может попасть на плохую дорогу: он может бегать по следам, как собака, и прыгать через забор, и, как лиса, подглядывать из-за кустов за другими. Но если человек плачет один, то лучше его оставить так: пусть плачет».

И Филька, обойдя рощу далеко, свернул в переулок и подошел к воротам Тани. Он открыл калитку и вошел в ее дом смело, как никогда не входил.

Старуха спросила его, что ему нужно.

Он ответил, что хотел бы видеть мать Тани и сказать ей, что в школе сегодня кружок и Таня придет попозже.

Старуха показала ему на комнату, где сидела мать.

Он приоткрыл немного дверь и снова закрыл ее быстро.

В комнате, на красном диванчике, рядом с матерью Тани сидела Александра Ивановна.

Обняв мать Тани, она говорила ей что-то, и у обеих в руках были крошечные белые платки, которые они изредка подносили к глазам.

Неужели и они горевали о чем-то?

Филька попятился назад, не скрипнув ни одной половицей.

Он вышел на крыльцо и быстро зашагал к воротам.

Да, он знал многие вещи, которые в городе были ему ни к чему. Он знал голоса зверей, знал корни трав, знал глубину воды, знал даже, что не следует дом свой в лесу конопатить войлоком, потому что птицы таскают волос на гнезда. Но, когда люди не смеются, а плачут вдвоем, он не знал, как в таком случае поступить. Тогда пусть все они плачут, а ему лучше заняться своими собаками, потому что уже зима и скоро лед поднимется над водой и от луны станет зеленым, как медь.

XII

Снег падал почти до самых каникул; переставал и падал, переставал и снова падал и засыпал весь городок. В домах стало трудно открывать ставни. На тротуарах прорывали траншеи. Дорога поднялась высоко. А снег все падал, овладевая и рекой и горами, и только в одном месте, на школьном дворе, где постоянно топтали его детские ноги, он ничего не мог поделывать. Тут он прижался покрепче к земле, стал плотным и гладким, и можно было из него лепить что угодно.

Вот уже несколько дней подряд на каждой большой перемене Таня лепит из снега фигуру.

Сегодня она кончила ее. Мальчики, помогавшие ей, отнесли к забору лестницу, оставили ведро с водой. И Таня отошла в сторону, чтобы посмотреть на свой труд.

Это был часовой в шлеме, с плечами широкими, как у отца, и с его осанкой. Точно на краю света стоял он, опираясь на ружье и глядя вдаль, а перед ним расстилалось темное море. Конечно, моря никакого не было. Но так живо было впечатление, что дети в первую минуту молчали. Потом мальчики постарше незаметно окружили Таню и разом с криками подняли ее на воздух.

Девочки, которых вовсе не трогали, завизжали. А Таня даже не вскрикнула. Она только была смущена, что в самом деле часовой получился хорошо. А ведь она и не думала, как это сделать. Она только схватила свою мысль и крепко держала ее, не выпуская из своих пальцев до тех пор, пока не приделала к винтовке штыка, покрыв его сверкающим льдом. И теперь пальцы ее болели от воды и от снега, и она грела их, засунув в рот.

Коля стоял в стороне, не делая к Тане ни одного шага.

Александра Ивановна, привлеченная громким криком детей, тоже вышла во двор и постояла без шубы перед снежной фигурой часового. Она была удивлена ее красотой.

Тонкие шерстинки на черном платье учительницы уже покрылись изморозью, гранатовая звездочка затуманилась на ее груди, а она все стояла, думая о своем собственном детстве.

Ведь и они когда-то лепили фигуры из снега. Одну она помнила хорошо. Это была снежная баба, стоявшая в углу двора. Ночью, когда двор и кирпичные стены заливала луна, на нее было страшно смотреть. Ее круглая распухшая голова, с черным углем вместо рта, была окружена сиянием. И однажды, взглянув на нее вечером из окна, она испугалась и заплакала. Никто не знал, отчего она плачет. А она не могла заснуть. Всю ночь в лунном свете мерещилась ей эта снежная баба, похожая на вымысел каких-то подземных существ.

И теперь, через двадцать лет, учительница оглянулась: нет ли и тут этой страшной снежной бабы? Нет, она не увидела ее. Тут были и другие фигуры, не так искусно сделанные, как часовой, но все же это были воины, герои, был даже богатырь на коне – фантазия наивная и высокая, населявшая все углы двора.

– Это ты слепила часового? – спросила она у Тани.

Таня кивнула головой и вынула пальцы изо рта.

– Вам холодно, Александра Ивановна, – сказала она, – ваша звездочка совсем потускнела. Можно мне ее потрогать?

И Таня, протянув руку, потеряла звездочку пальцем, и звездочка снова заблестела на гранях.

– Хочешь, я тебе ее подарю за то, что ты так хорошо сделала часового? – сказала учительница.

Таня с испугом остановила ее:

– Не надо! Не делайте этого, Александра Ивановна. Мы помним вас все с этой звездочкой. Не надо отнимать ее у других.

Таня отбежала подальше к воротам, где стоял Филька, маня ее к себе рукой.

А учительница потихоньку побрела к крыльцу и, пока шла, все время думала о Тане. Как часто застает она ее в последнее время и печальной и рассеянной, и все же каждый шаг ее исполнен красоты. Может быть, в самом деле любовь скользнула своим тихим дыханием по ее лицу?

«Ну что ж, это совсем не страшно, – думала с улыбкой учительница. – Но что она там жует усердно? Неужели снова они раздобыли у китайца эту противную серу? Так и есть! Любовь, о милая любовь, которую еще можно умерить серой!»

Учительница засмеялась тихонько и отошла прочь от детей.

Действительно, Филька раздобыл у китайца целый кусок пихтовой смолы и теперь охотно раздавал ее всем. Он дал тем, кто стоял от него направо, и тем, кто стоял налево, и только Жене не дал ничего.

– Что же ты мне не даешь серы? – крикнула ему Женя.

– Филька, не давай девочкам серы, – сказали мальчики со смехом, хотя они знали отлично, что рука его всегда была щедра.

– Нет, отчего же? – ответил им Филька. – Я дам ей самый большой кусок. Пусть только подойдет ко мне.

Женя подошла.

Филька вынул из кармана маленький пакетик, сделанный из бумаги, и осторожно положил в ее руку.

– Ты даешь мне слишком много, – с удивлением сказала Женя.

Она развернула бумажку.

Маленький, недавно родившийся мышонок, дрожа, сидел на ее руке. Она с криком бросила его на землю, а девочки, стоявшие поближе, разбежались.

Мышонок, сидя на снегу, дрожал.

– Что вы делаете? – сказала сердито Таня. – Ведь он замерзнет!

Она нагнулась и, подняв мышонка, подула на него, согрела у своих губ теплым дыханием, потом сунула его к себе под шубку за пазуху.

К толпе подошел человек, которого никто в этом городе раньше не видел. Он был в сибирской шапке из лисьего меха и в дорожной дохе. Ноги же его были обуты плохо. И это увидели все.

– Кто-то приехал сюда, – сказал Филька, – не здешний.

– Не здешний, – подтвердили другие.

Все смотрели на него, пока он подходил. А маленькая девочка с проворными ногами даже ухватила его за шубу.

– Дядя, вы инспектор? – спросила она.

Он подошел к толпе, где стояла Таня, и сказал:

– Скажите мне, ребята, как попасть к директору?

Все отступили назад. Это мог быть в самом деле инспектор.

– Почему же вы молчите? – спросил он и обратился к Тане: – Проводи меня ты, девочка.

Таня оглянулась, полагая, что он говорит другой.

– Нет, ты, девочка, ты, с серыми глазами, у которой мышонок.

Таня посмотрела на него, раскрыв широко глаза и громко жуя свою серу. Из-за плеча ее

выглядывал мышонок, пригравшийся под воротником ее шубки.

Человек улыбнулся ему.

И тогда Таня выплюнула серу и пошла вперед к крыльцу.

– Кто это? – спросил Коля.

– Это, наверное, инспектор из Владивостока, – сказали ему другие.

А Филька вдруг крикнул с испугом:

– Это герой, честное слово! Я видел на груди его орден.

XIII

Меж тем это был писатель. Кто его знает, зачем он приехал в этот город зимой без валенок, в одних только сапогах. Да и сапоги его были не из коровьей кожи, прошитой, как у старателей, жилками, а из обыкновенного серого брезента, который никак уж не мог согреть его ноги. Правда, на нем была и длинная теплая шуба, и шапка из рыжей лисы. В этой шубе и шапке его видели и в клубе у пограничников. Говорили, будто он родился в этом городе и даже учился в этой самой школе, куда сегодня пришел.

Может быть, захотелось ему вспомнить свое детство, когда он рос здесь мальчиком и пусть холодный, а все же родимый ветер дул в его лицо и знакомый снег ложился на его ресницы. Или, может, захотелось ему посмотреть, как новая поросль шумит теперь на берегу его реки. Или, может быть, соскучился он со своей славой в Москве и решил отдохнуть, как те большие и зоркие птицы, что целый день парят высоко над лиманом и потом опускаются на низкие ели побережья и отдыхают здесь в тишине.

Но Таня не думала так.

Пусть это не Горький, думала она, пусть это другой, но зато он приехал сюда, к ней домой, в ее далекий край, чтобы и она могла посмотреть на него своими глазами, а может быть, даже прикоснуться к его шубе рукой.

У него были седые волосы на висках, хотя он еще не был стар, и тонкий голос, который поразил ее.

Она только боялась, как бы он не спросил ее вдруг, любит ли она Пушкина и нравятся ли ей его собственные книги.

Но он ни о чем не спросил. Он только сказал:

– Спасибо тебе, девочка. Что же ты сделаешь с мышонок?

И хотя, как многие слышали, писатель ничего особенного не сказал, а все же доставил всем немало хлопот.

Как хорошо было раньше, когда раз в десять дней Александра Ивановна по вечерам, после уроков, занималась с литературным кружком!

Они усаживались все за длинный стол в пионерской комнате, а Александра Ивановна садилась в кресло. Она становилась как будто немного другой, чем в классе, словно из далекого странствования приплывала к ним на невидимом корабле. Она клала подбородок на свои сплетенные пальцы и вдруг начинала читать:

Когда волнуется желтеющая нива
И свежий лес шумит при звуке ветерка...

Затем подумает немного и скажет:

– Нет, не то я хотела вам сегодня прочесть. Лучше послушайте вот что:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный, и лукавый,
И...

Ах, дети, я так хочу, чтобы вы поняли, каким чудесным бывает слово у поэта, каким дивным смыслом наполнено оно!

А Филька ничего не понимал и готов был без сожаления вырвать свой язык, который только и делал, что колотился без толку о его зубы, помогая им жевать все, что попадало в рот, а ни одного такого стиха сочинить не мог. Но зато он отлично говорил, как китаец, стоявший на углу с липучками. «И мало-мало есть, – говорил он, – и худо есть, и шибко хорошо».

Все над ним смеялись.

Потом Женя читала стихи о пограничниках, а Таня – рассказы. Коля же всегда критиковал бесстрастно, жестоко и сам ничего не писал – он боялся написать плохо.

Но совсем недавно, несколько дней назад, Таня прочитала им свой рассказ о маленьком мышонке, который поселился в рукаве старой шубы. Он жил там долго. Но однажды шубу вынесли из кладовой на мороз, и в первый раз мышонок увидел снег. «И как только людям не стыдно его топтать, – ведь это же сахар!» – подумал мышонок и выпрыгнул из рукава. Бедный мышонок! Как он теперь будет жить?

На этот раз Коля ничего не сказал дурного. Его молчание Таня сочла за похвалу и целый день, и всю ночь, даже во сне, ощущала счастье. А утром разорвала рассказ и выбросила вон.

«Неужели, – думала она, – даже не похвала, а только молчание этого дерзкого мальчика может меня сделать счастливой?»

Но сегодня на занятиях было совсем иначе.

Странные заботы посетили их круг. Где достать цветы, чтобы поднести их вечером писателю? Где их взять зимой, под снегом, когда даже простые хвощи на болоте, когда даже последняя травка в лесу не осталась живой?

Все думали об этом. И Таня думала, но ничего не могла придумать – у нее не было больше цветов.

Тогда толстощекая Женя сказала (она всегда говорила полезные вещи):

– У нас дома, в горшках, распустились царские кудри.

– И у нас, – разом сказали девочки, – зацвели на окнах китайские розы и фуксии.

– У нас же... – сказал Филька и в то же мгновение умолк, потому что его хозяйка не держала цветов в своем доме. Она держала свинью, которую его собаки во что бы то ни стало хотели разорвать на части.

Таким образом собрали много цветов. Но кто же отдаст их ему? Кто при всех, в большом школьном зале, где ярко будут гореть сорок ламп, поднимется на дощатую сцену и пожмет писателю руку и скажет: «От имени всех пионеров...»

– Пусть это сделает Таня! – крикнул Филька громче всех.

– Пусть это сделает Женя, – сказали девочки. – Ведь она придумала, каким образом собрать эти цветы.

И хотя они были правы, но все же мальчики спорили с ними. Только Коля молчал.

И когда все-таки выбрали Таню, а не Женю, он прикрыл глаза рукой. И никто не понял, чего же он хотел.

– Итак, – сказала Александра Ивановна, – ты взойдешь на трибуну, Таня, подойдешь к гостю, пожмешь ему руку и потом отдашь цветы. Ты скажешь ему то, что мы тут решили. Память у тебя хорошая, больше я тебя учить не буду. До начала осталось немного. Возьми цветы.

И Таня вышла, держа цветы в руках.

«Так вот она, справедливость! Вот настоящая награда за все мои обиды, – думала Таня, прижимая к себе цветы. – Не кто другой, как я, пожму знаменитому писателю руку, и отдам цветы, и буду смотреть на него, сколько мне захочется. И когда-нибудь потом, много-много времени спустя – лет так через пять, – и я смогу сказать друзьям, что видела кое-что на свете».

Она улыбалась всем, кто подходил к ней близко. Она улыбалась и Жене, не видя ее

злых взглядов.

– Это удивительно, почему все же выбрали Таню Сабанееву, – сказала Женя друзьям. – Я не говорю о себе – я не тщеславна, и мне этого вовсе не нужно, – но лучше было бы выбрать Колю. Он куда умней ее. Впрочем, этих мальчишек очень легко понять. Они выбрали ее потому, что у нее красивые глаза. Даже писатель что-то сказал о них.

– Он назвал их только серыми, – сказал Коля, смеясь. – Но ты, Женя, всегда права. Они красивые. И ты бы, наверно, хотела, чтоб у тебя были такие глаза?

– Вот уж чего не хотела бы, право! – сказала Женя.

Таня не слушала больше. И цветы, которые она держала в руках, показались ей тяжелыми, будто сделаны были из камня. Она бросилась бежать мимо классов, мимо большого зала, где, усаживаясь, уже гремели стульями.

Она сбежала по лестнице и в пустой сумрачной раздевалке остановилась задыхаясь. Она еще не знала всего красноречия зависти, она была слаба.

«Возможно ли то, что она говорит обо мне? Ведь это было бы недостойно меня, пионерки. Пусть счастье не улыбается мне. Не следует ли лучше отказаться, чем слушать подобные слова?»

Ноги не держали ее.

«Нет, все все неправда! – сказала она себе. – Все это вздор!»

А все же ей захотелось увидеть свои глаза.

В раздевалке, где, точно на лесной поляне, постоянно царил сумрачный свет, было тихо в этот час. Большое старое зеркало, чуть наклоненное вперед, стояло у белой стены. Его черная лакированная подставка всегда вздрагивала от шагов пробежавших мимо школьников. И тогда зеркало тоже двигалось. Точно светлое облако, проплывало оно немного вперед, отражая множество детских лиц.

Но сейчас оно стояло неподвижно. Вся подставка была уставлена чернильницами, только что вымытыми сторожем. И чернила стояли тут же, на подставке, в простой бутылке, и в высокой четверти с этикеткой, и еще в одной огромной стеклянной посуде. Как много чернил! Неужели их нужно так много, чтобы ей, Тане, зачерпнуть каплю на кончик своего пера?

Осторожно обойдя бутылку, стоявшую на полу, Таня подошла к зеркалу. Она оглянулась – сторожа не было видно – и, положив на подзеркальник локти, приблизила свое лицо к стеклу. Из глубины его, более светлой, чем окружающий сумрак, глядели на Таню ее серые, как у матери, глаза. Они были раскрыты, постоянный блеск покрывал их поверхность, а в глубине ходили легкие тени, и, казалось, в них не было никакого дна.

Так стояла она несколько секунд изумленная, точно лесной зверек, впервые увидевший свое отражение. Потом тяжело вздохнула:

– Нет, какие уж это глаза!

С чувством сожаления Таня отодвинулась назад, распрямилась.

И тотчас же, словно повторяя ее движение, качнулось на подставке зеркало, вновь возвращая Тане ее глаза. А бутылка с чернилами вдруг наклонилась вперед и покатилась, звеня о пустые чернильницы.

Таня быстро протянула руку. Но, точно живое существо, бутылка увернулась, продолжая свой путь. Таня хотела поймать ее на лету, даже прикоснулась к ней пальцами. Но бутылка скользила, боролась, точно спрут, извергая черную жидкость. Она упала на пол, даже не очень звонко, скорее со звуком глины, оборвавшейся с берега в воду.

С Таней случилось то, что хоть раз случается в жизни с каждой девочкой, – она проливает чернила.

– Вот несчастье! – воскликнула Таня.

Она отскочила, подняв левую руку, в которой все время держала цветы. Все же несколько черных капель блестело на нежных лепестках китайских роз. Однако это еще ничего, можно лепестки оборвать. Но другая рука! Таня с отчаянием вертела ее перед глазами, поворачивая ладонь то вверх, то вниз. До самого сгиба кисти она была черна и

ужасна.

– Любопытно!

Так близко от нее раздался возглас, что Тане показалось, будто она сама сказала это слово.

Она быстро вскинула голову.

Перед ней стоял Коля и тоже смотрел на ее руку.

– Любопытно, – повторил он, – как ты теперь пожмешь руку писателю. Кстати, он уже пришел и сидит сейчас в учительской. Все собрались. Александра Ивановна послала меня за тобой.

Секунду Таня была неподвижна, и глаза ее, только что глядевшие в зеркало с таким любопытством, теперь выражали страдание.

Удивительно, как ей не везет!

Она протянула ему цветы. Она хотела сказать: «Возьми у меня и это. Пусть поднесет их Женя. Ведь у нее тоже хорошая память».

И он взял бы эти цветы и, может быть, посмеялся бы над нею вместе с Женей.

Таня живо отвернулась от Коли и помчалась дальше между рядами детских шуб, сопровождавших ее, точно строй неподвижных свидетелей. В умывалке она нашла воду. Она вылила ее всю, до последней капли.

Она терла руку песком, и все же рука ее осталась черной.

«Все равно он скажет! Он скажет Александре Ивановне. Он скажет Жене и всем».

Итак, она сегодня не выйдет на сцену, не отдаст цветов и не пожмет руку писателю.

Удивительно, как не везет ей с цветами, к которым так привязано ее сердце! То она отдает их больному мальчику, а тот оказывается Колей, и вовсе их не следовало ему отдавать, хотя то были простые саранки. И вот теперь – эти нежные цветы, которые растут только дома. Попади они к другой девочке – сколько чудесных и красивых историй могло бы с ними случиться! А она должна отказаться от них.

Таня страхнула с руки капли воды и, не вытирая ее, побрела из раздевалки, больше не торопясь никуда. Теперь уж все равно!

Она взошла по ступеням, обитым медной полоской по краю, и пошла по коридору, поглядывая в окна, не увидит ли во дворе своего дерева, которое иногда утешало ее. Но и его не было. Оно росло не здесь, оно росло под другими окнами, на другой стороне. А по другой стороне, пересекая ей путь, шел по коридору писатель. Она увидела его, оторвавшись на секунду от окна.

Он шел, торопливо передвигая ноги в своих брезентовых сапогах, без шубы, в длинной кавказской рубахе с высоким воротом, перехваченной в талии узким ремешком. И блестели его серебряные волосы на затылке, блестел серебряный пояс, и пуговиц на его длинной рубахе Тане было не счесть.

Вот он свернет сейчас за угол коридора к учительской и исчезнет от Тани навсегда.

– Товарищ писатель! – крикнула она с отчаянием.

Он остановился. Он повернулся кругом, как на пружине, и пошел назад, к ней навстречу, размахивая руками и морща лоб, словно сию минуту заранее понять, что нужно этой девочке, остановившей его на пути. Уж не цветы ли она принесла ему? Как много, как часто приносят ему цветы! Он не посмотрел на них даже.

– Товарищ писатель, скажите, вы добрый?

Он наклонил к ней лицо.

– Нет, скажите, вы добрый? – с мольбой повторила Таня и увела его за собой в глубину пустого коридора.

– Товарищ писатель, скажите, вы добрый? – повторила она в третий раз.

Что мог он ответить на это девочке?

– Но что тебе нужно, дружок?

– Если вы добрый, то прошу вас, не подавайте мне руки.

– Ты разве сделала что-нибудь плохое?

– Ах нет, не то! Я хотела сказать другое. Я должна поднести вам цветы, когда вы кончите читать, и сказать от имени всех пионеров спасибо. Вы подадите мне руку. А как я вам подам? Со мной случилось несчастье. Посмотрите.

И она показала ему свою руку – худую, с длинными пальцами, всю измазанную чернилами.

Он сел на подоконник и захохотал, притянув Таню к себе.

Смех его поразил ее больше, чем голос, – он был еще тоньше и звенел.

Таня подумала:

«Он, наверно, должен петь хорошо. Но сделает ли он то, о чем я прошу?»

– Я сделаю так, как ты просишь, – сказал он ей.

Он ушел, все еще посмеиваясь и размахивая руками на свой особый лад.

Это была веселая минута в его длинном путешествии. Она доставила ему удовольствие, и на сцене он был тоже весел. Он сел поближе к детям и начал читать им, не дождавшись, когда они перестанут кричать. Они перестали. Таня, сидевшая близко, все время слушала его с благодарностью. Он читал им прощание сына с отцом – очень горькое прощание, но где каждый шел исполнять свои обязанности. И странно: его тонкий голос, так поразивший Таню, звучал теперь в его книге иначе. В нем слышалась теперь медь, звон трубы, на который откликаются камни, – все звуки, которые Таня любила больше, чем звуки струны, звенящей под ударами пальцев.

Вот он кончил. Вокруг Тани кричали и хлопали, она же не смела вынуть руки из кармана своего свитера, связанного из грубой шерсти. Цветы лежали на ее коленях.

Она смотрела на Александру Ивановну, ожидая знака.

И вот все уже смолкли, и он отошел от стола, закрыл свою книгу, когда Александра Ивановна легонько кивнула Тане.

Она взбежала по ступенькам, не вынимая руки из кармана. Она приближалась к нему, быстро перебирая ногами по доскам, потом пошла медленней, потом остановилась. А он смотрел в ее блестящие глаза, не делая ни одного движения.

«Он забыл, – подумала Таня. – Что будет теперь?»

Мороз пробежал по ее коже.

– От имени всех пионеров и школьников... – сказала она слабым голосом.

Нет, он не забыл. Он не дал ей кончить; широко раскинув руки, подбежал к ней, заслонил от всех и, вынув цветы из ее крепкой сжатой ладони, положил их на стол. Потом обнял ее, и вместе они сошли со сцены в зал. Он никому не давал к ней прикоснуться, пока со всех сторон не окружили их дети.

Маленькая девочка шла перед ними и кричала:

– Дядя, вы живой писатель, настоящий или нет?

– Живой, живой, – говорил он.

– Я никогда не видала живого. Я думала, он совсем не такой.

– А какой же?

– Я думала, толстый.

Он присел перед девочкой на корточки и потонул среди детей, как в траве. Они касались его руками, они шумели вокруг, и никогда самая громкая слава не пела ему в уши так сладко, как этот страшный крик, оглушавший его.

Он на секунду прикрыл глаза рукой.

А Таня стояла возле, почти касаясь его плеча. Вдруг она почувствовала, как кто-то старается вынуть ее руку, запрятанную глубоко в карман. Она вскрикнула и отстранилась. Это Коля держал ее руку за кисть и тянул к себе изо всей силы. Она боролась, сгибая локоть, пока не ослабела рука. И Коля вынул ее из кармана, но не поднял вверх, как ожидала Таня, а только крепко сжал своими руками.

– Таня, – сказал он тихо, – я так боялся за тебя! Я думал, что будут над тобой смеяться. Но ты молодец! Не сердись на меня, не сердись, я прошу! Мне так хочется танцевать с тобой в школе на елке!

Ни обычной усмешки, ни упрямства не услышала она в его словах.

Он положил свою руку ей на плечо, словно веселый танец уже начался, словно они стали кружиться.

Она покраснела, глядя на него в смятении. Нежная улыбка осветила ее лицо, наполнила глаза и губы. И, ничего не боясь, она тоже подняла свою руку. Она совсем забыла о своих обидах, и несколько секунд ее перепачканная худая девическая рука покоилась на его плече.

Вдруг Филька обнял обоих. Он пытливо смотрел то на Таню, то на Колю, и беспечное лицо его на этот раз не выражало радости.

– Помирились, значит, – громко сказал он.

Таня отдернула руку, сняла ее с плеча Коли, опустила вниз вдоль бедра.

– Что ты глупости говоришь, Филька! – сказала она, покраснев еще сильнее. – Он просто просил меня, чтобы я пригласила его к себе завтра на праздник. Но я не приглашаю. А впрочем, пусть приходит, если ему уж так хочется.

– Да, да, – вздохнул легонько Филька, – завтра Новый год, я помню – это твой праздник. Я приду к тебе с отцом, он просил меня. Можно?

– Приходи, – поспешно заметила Таня. – Может быть, у меня будет нескучно. Приходи, – сказала она и Коле, прикоснувшись к его рукаву.

Филька с силой протиснулся между ними, а за ним толпа, стремящаяся вперед, широкой рекой разъединила их.

XIV

Новогодняя ночь приходила в город всегда тихая, без вьюг, иногда с чистым небом, иногда с тонкой мглой, загоравшейся от каждого мерцания звезды. А повыше этой мглы, над ней, в огромном, на полнеба, круге ходила по своей дороге луна.

Эту ночь Таня любила больше, чем самую теплую летом. В эту ночь ей разрешалось не спать. Это был ее праздник. Правда, она родилась не в самую ночь под Новый год, а раньше, но имеет ли это значение! Праздник есть праздник, когда он твой и когда кругом тебя тоже радуются. А в эту ночь в городе никто не спал. Снег сбрасывали с тротуаров на дорогу и ходили друг к другу в гости, и среди ночи раздавались песни, скрипели шаги на снегу.

В этот день мать никогда не работала, и Таня, придя из школы, еще на пороге кричала:

– Стоп, без меня пирожков не делайте!

А мать стоит посреди комнаты, и руки у нее в тесте. Она относит их назад, как два крыла, которые готовы поднять ее на воздух. Но мать остается на земле. Она нагибается к Тане, целует ее в лоб и говорит ей:

– С праздником тебя, Таня, с каникулами. А мы еще ничего не начинали делать, ждем тебя.

Таня, бросив книги на полку, спешила надеть свое старенькое, в черных мушках, платье. Она еле влезала в него. Ее выросшее за год тело наполняло его, как ветер, дующий в парус с благоприятной стороны. И мать, глядя на Танины плечи, начинала качать головой:

– Большая, большая!

А Таня, не боясь запачкаться в тесте, хватала ее сзади за руки и, подняв невысоко от земли, проносила через всю комнату.

– Ты надорвешься! – кричала в испуге мать.

Но мать была легка. Легче связки сухой травы была эта ноша для Тани.

Она осторожно опускала ее на пол, и обе смотрели в смущении на старуху, которая стояла в дверях.

– Ополоумели обе, – говорила старуха, – забыли про тесто!

И тогда наступали самые приятные часы. Все, что вечером Таня пила и ела и чем

угощала друзей, – все она делала сама. Она давила черные зерна мака, выжимая из них белый сок, похожий на молоко одуванчика. Она бегала поминутно в кладовую. А в кладовой ужасный холод! Все замерзло. Все вещества изменили свой вид, свое состояние, на которое осудила их природа. Мясо было твердо, как камень. Таня пилила его маленькой пилкой. А молоко кусками лежало на полке. Таня крошила его ножом, а из-под ножа сыпались ей на руки длинные волокна и пыль, похожая на пыль канифоли. Потом она приносила хлеб. Он сидел в кладовой, как старик. Из каждой поры его веяло смертью. Но Таня знала, что он жив, что все живет в ее кладовой. Ничто не умерло. Она ставила хлеб и мясо на огонь и давала им жизнь. И мясо становилось мягким, источало крепкий сок, молоко покрывалось пеной, и хлеб начинал дышать.

Потом Таня уходила на лыжах в рощу. Она сбегала по пологому склону вниз, где из-под снега виднелись только вершины молоденьких пихт. Она выбирала одну, самую молодую, у которой хвоя была голубей, чем у других. Она срезала ее острым ножом и на плечах приносила домой.

Это было маленькое деревце, которое Таня ставила на табурет. Но и на маленькой пихте находила она несколько капель смолы, которую любила жевать. И запах этой смолы надолго поселялся в доме.

Украшений было на пихте немного: ее голубая хвоя, на которой блестела от свечей канитель, по ветвям ползли серебряные танки, золотые звезды спускались на парашютах вниз. Вот и все.

Но как хорошо бывало в этот счастливый день! Приходили гости, и Таня была рада друзьям. А мать заводила для них патефон, который приносила с собою из больницы.

И сегодня должно быть нисколько не хуже. Придет отец, придет Коля... Придет ли он?

«Я, кажется, обидела его снова, – подумала Таня. – Зачем? Какое удивительное существо человек, если два слова, сказанные глупым мальчиком Филькой, могут замутить его радость, убить добрые слова, готовые вырваться из сердца, остановить протянутую для дружбы руку!»

Тане захотелось посмотреть на свое плечо, где недавно несколько секунд лежала рука Коли.

Никаких следов не было на плече Тани.

Но зато, повернув голову, видела она мать, пристально глядевшую на нее.

Мать держала дневник – школьную ведомость Тани. Не все было в этой тетрадке так отлично, как прежде, но мать на этот раз молчала. И взгляд ее, обращенный на дочь, был задумчив и жалостлив, точно разглядывала она не Таню, а крошечное существо, когда-то качавшееся на ее коленях.

Мать была уже одета в свое выходное платье, сшитое из черного шелка. И как стройно держалась сегодня ее голова, как тяжелы и блестящи были волосы на затылке! Разве есть на свете человек красивей и милей, чем она?

«Как не может понять этого отец?» – подумала Таня.

Несколько пушинок от ваты пристало к платью матери. Таня сдунула их своим дыханием.

– Скоро придет отец, – сказала она.

– Да, я жду, – сказала мать, – и Надежда Петровна придет. Я просила ее прийти.

– Ах, лучше бы она не приходила! – невольно воскликнула Таня.

– Почему же, Таня? – спросила мать.

– Не надо.

– Почему же все-таки, глупое ты дитя?

Но вместо ответа Таня покружила мать вокруг своего маленького деревца, все время боясь, что, быть может, и взрослые притворяются так же, как дети; она кружила ее долго.

Скрип шагов и топот на крыльце прервал их кружение.

– Папа пришел, – сказала мать со смехом. – Перестань.

Таня отскочила в угол.

– Коля пришел, – сказала она, побледнев.

Но нет, это пришли другие – три девочки, с которыми Таня дружила в отряде.

Таня вышла к ним из угла.

– А танцевать у тебя можно? – спросили девочки, хотя с мороза глаза их еще ничего не видели и лица были красны.

– Можно. Сегодня все можно! – сказала Таня. – Я сейчас заведу патефон.

Громкая музыка заполнила весь дом, как солнцем залила его звуками, набила до самой крыши.

Потом пришел отец с Надеждой Петровной. Он несколько раз обнял Таню и поздравил ее с праздником, а Надежда Петровна подарила ей торбаса и дошку, всю расшитую бисером.

А Коли не было.

И мать спросила:

– Где же Коля?

– Вот упрямый мальчишка! – сказал отец. – Ни за что не хотел идти с нами вместе. У меня, говорит, есть свой собственный подарок для Тани, я принесу его сам.

Вслед за ними пришел Филька с отцом, с матерью и с тремя маленькими братьями, на собаках приехавшими к нему в город. Все они были смуглы и стали в ряд перед Таней, поклонившись ей, как хозяйке, низко. Потом все, как один, вынули из карманов платки, сложенные вчетверо, и вытерли ими носы. И охотник гордился их поведением, а мать спокойно курила трубочку, обитую медными гвоздями. И гвоздики эти блестели при свечах.

Детей поднимали на руки, и Таня целовала их всех без разбору, изредка оглядываясь на свою мать. Та весь вечер стояла рядом с Надеждой Петровной, держа ее под руку, хотя Таня уже несколько раз пыталась их разлучить: то просила поддержать ей дошку, то помочь надеть торбаса. Но каждый раз, с улыбкой потрепав Таню по плечу, мать возвращалась на свое место к Надежде Петровне, дружелюбно беседуя с ней.

Гости снова попросили танцев.

Таня подошла к патефону, радуясь, что может хоть на секунду повернуться ко всем спиной.

Она усердно крутила ручку, и черный сверкающий круг вертелся перед ее глазами, и, трудолюбивая, как лошадь, ходила по своей борозде игла. Она пела в три голоса и пела в один, она играла, играла, словно целый хор медных труб и флейт, как светлые духи, поселился на ее острие.

А Коли не было.

«Где же он?» – думала с тоской Таня.

За ее спиной, колыхая маленькую пихту и большой бумажный абажур под потолком, танцевали дети. С ними вместе танцевал отец. Он был очень весел сегодня и плясал прекрасно, приводя детей в восторг.

– Посмотри же, Таня, – говорила поминутно мать, – ведь это отец танцует!

– Да, – ответила Таня, – я вижу, мама, он танцует очень хорошо.

Она смотрела на отца. Но мысли и взгляд ее блуждали. И вскоре она поймала себя на том, что отец, и танец его, и веселье мало привлекают ее внимание сейчас. А ведь совсем недавно сколько и горьких и сладких чувств толпилось в ее сердце при одной только мысли об отце! Что с ней? Она все время думает о Коле.

«Где же он теперь? У Жени сегодня тоже елка».

Но тут Филька с братьями начал тихо кружиться, все расширяя круг. Они заносили ноги мягко, чуть поднимая их с полу, и то один из них, то другой звал к себе Таню. Они танцевали танец, какой обыкновенно танцуют веселые эвенки на песчаном берегу Тугура в час, когда восходит над лесом луна.

Таня вошла в их круг. Она танцевала, поминутно поглядывая на дверь.

– Молодцы! – крикнул восхищенно отец. – Черт возьми, мы будем сегодня веселиться! Таня, попроси у мамы вина. У меня есть еще для вас подарок.

Мать сказала:

– Отец, не сходи с ума. Вина им нельзя.

– Я знаю твердо только одно, – сказал отец, – нельзя есть волчьих ягод. Но вина по капельке можно.

– По капельке можно, – повторили за ним разом дети.

И нянька внесла на большом подносе бутылку сладкого вина. А вслед за нянькой вошел совсем молодой красноармеец Фролов. Он был в тулупе шофера, улыбался всем хитрой улыбкой, а в руке у него было ведро.

– Фролов, дружок, – сказал отец, – покажи-ка наш подарок ребятам.

Дети сами заглянули в ведро, но увидели там только снег.

– Что это? – спросили они. – Тут снег, и больше ничего не видно.

– А вот сейчас, ребята, – сказал Фролов.

И, запустив руку в ведро, он вытащил из-под снега большой апельсин, потом еще два и еще. Дети криками встретили эти плоды. Они брали их в руки и тотчас же клали назад, потому что апельсины были тверды и холодны. Держать их было трудно, как железо, долго лежавшее на морозе.

– Погодите, ребята, – сказал со смехом отец. – Их надо сначала разморозить. И тогда – даю слово – они понравятся вам.

Он опустил апельсин в холодную воду, и на поверхности его через мгновение выступил лед. Он покрывал его тонкой коркой, и апельсин блестел, как шар, висевший на маленькой пихте. Отец ударил по корке ножом, она раскололась на части, и из осколков льда, тающих быстро на ладони, вышел круглый и свежий плод. Незнаком и чудесен на севере был его запах и цвет. И маленький брат Фильки боялся его и не ел.

Сам же Филька принес свой апельсин отцу.

– Съешь его, – сказал охотник, без всякого удивления глядя на этот странный плод. – Он подарен тебе друзьями, и в нем не может быть никакого вреда. Но не будь он такой большой, я принял бы его за ягоду, упавшую с рябины на землю, и почистил бы им свою новую трубочку, на которой медь так быстро тускнеет от холода в нашем лесу. Однако, – добавил он с достоинством, – рябина у нас тоже бывает крупна перед морозом.

Он отстранил апельсин рукою. Он был уже стар и ничему не желал отдавать предпочтение, ничему, что не росло в его родном лесу.

Тогда Филька сунул свой апельсин за пазуху, чтобы поделиться им с Таней. Ничего не мог он съесть один – ни сладкого корня, который находил в лесу, ни весенней заболони лип, ни шмелиного меду, ни кислого сока у муравьев.

Но Тани не было в толпе ее гостей. Куда она ушла? Что с ней? Она была сегодня печальна.

Филька заглянул в другую комнату, где было темно и на кроватях лежали шубы. Ее и тут не было. Тогда он отправился на кухню и в сенях увидел Таню. Она незаметно пробиралась к дверям. Она была уже в дошке и, нагнувшись, затягивала у щиколотки ремешки своих новых торбасов.

Филька молча отодвинулся, заслонив ее от взглядов гостей.

Таня вышла на крыльцо. Воздух столбами подымался вверх и на страшной высоте превращался в тонкие облака, волочившиеся по освещенному небу. И сквозь них, точно сквозь прозрачное стекло, затуманенное дыханием, виднелась небольшая холодная луна.

Таня ступила на снег, стараясь не скрипеть. Легкая сверкающая мгла посыпалась ей на плечи, на лицо. Она провела рукой по своей непокрытой голове и вышла за ворота. Она бегом пересекла улицу и остановилась у дома, где жила Женя. Он был весь окружен сугробами.

Таня присела на снег и посидела немного, стыдясь заглянуть в окно. Потом забралась на сугроб. Окно приходилось как раз перед глазами. И сквозь стекло был виден свет,

похожий на луну смутной своей белизной. Это горели свечи на елке. И вокруг нее двигались дети. Тени их проплывали мимо неподвижного взгляда Тани, и в каждой она узнавала Колю.

Голова ее пылала на морозе. А она все глядела. И тени плыли и плыли, как в сумрачном царстве воды. И только одна оставалась неподвижной, более глубокая и черная, чем другие, – тень огромной рыбы с опущенным хвостом. Но и она вскоре поплыла. Она двигалась то вверх, то вниз, то становилась косо поперек всего стекла. И даже пузырьки, которые она выпускала изо рта, были отлично видны.

«Что это? – с диким страхом подумала Таня. – Ах, это аквариум Жени, который стоит на окне».

Но вот чьи-то темные руки протянулись к окну, и рыба исчезла. Исчезла и вся волшебная картина, долго занимавшая Таню. Кто-то спиной заслонил окно.

Близко стукнула дверь на крыльце. Таня быстро присела. Она соскользнула с сугроба и, перескакивая через снег, через лед, через мерзлые доски палисада, помчалась прочь. Она бежала бог весть куда, блуждала без направления, пока волнение ее не утихло. Но какая глубокая грусть все еще теснила ее существо!

Таня не решалась войти в свой дом. Она постояла еще у себя во дворе под забором за стволом березы, скрывавшей ее от всех.

– Что со мной? – говорила она, неизвестно к кому обращаясь. – Что со мной? Откуда это все, скажите мне кто-нибудь!

Береза молчала, и шумела одна только ель, неохотно пропуская сквозь хвою холодный воздух.

Филька вышел без шапки на крыльцо и тихо окликнул Таню.

Она не отозвалась. Он выглянул даже за калитку и побрел назад. И только когда он скрылся, Таня вернулась в дом. Она вошла в свою комнату, где дети по-прежнему кружились вокруг ее отца. А на стуле стоял Коля и менял догоревшие на пихте свечи. При виде его у Тани не хватило дыхания. Она покачнулась. Волосы ее были влажны от инея, вся одежда в снегу.

– Таня, где ты была? – спросил с тревогой отец.

– Я выходила на улицу подышать. У меня закружилась голова.

– Так иди же приляг на мою постель, – сказала мать.

Коля соскочил со стула и подошел к Тане совсем близко.

– Подожди, – сказал он, – я хочу показать тебе свой подарок. Я ходил за ним далеко к знакомому китайцу.

Он принес ей сначала целую кучу мотылей – тонких червячков, более красных, чем ягоды лесного шиповника. Она положила их на лежанку, где сушились дрова. Затем он показал ей маленький аквариум, в котором плавала золотая рыба. Она была большая, с опущенным хвостом, похожим на длинное платье. Она толкалась в стекло. Она едва помещалась в своих прозрачных стенах. Листики зелени плавали сверху на воде.

Таня сказала:

– Ты ходил за ней к китайцу? Это совершенно напрасно. Я не держу, как Женя, рыбок за стеклом на окне. Придется ее зажарить.

Коля сдвинул брови, глаза его стали темней, непроницаемей. Он как будто не слышал слов Тани. Только руки его ослабели, аквариум закачался, рыба, плеснув хвостом, всплыла наверх, и несколько капель воды пролилось через край на пол.

Коля подошел к старухе, весь вечер стоявшей в дверях.

– Няня, – сказал он, – зажарьте эту рыбу с картошкой, Таня просит.

– Да, да, – сказала Таня, – зажарьте ее, няня. Она очень вкусна. Она из породы карасевых.

И, подойдя к отцу, она взяла его за руки:

– Папа, мы будем с тобой сегодня много танцевать. Ты хорошо танцуешь.

И вот ноги ее, так много пробежавшие сегодня по сугробам и по снегу, снова начали двигаться – теперь уже по гладкому полу. Она поднималась на цыпочки, чтобы закинуть

руку на плечо отца. И когда голова ее, немного запрокинутая назад, уставала, Таня нагибалась и лбом прижималась к его рукаву. А руки отца слегка покачивали ее. Она склонялась туда и сюда, как речная трава, выросшая на тихом течении. И он был счастлив, улыбался. Наконец-то он был вознагражден за свои старания, которые, казалось ему, сегодня были напрасны, за свои богатые подарки, за веселую пляску, за апельсины во льду, за несколько капель вина, которые разрешил он выпить детям.

Мать расхаживала среди гостей, тоже счастливая. Хотя каждый шаг ее был сдержан, но лицо наполнено живостью, и даже голос у нее был другой.

Таня танцевала и с матерью, и с Надеждой Петровной и, устав от танцев, остановилась в углу за своим разукрашенным деревцем.

Рядом с ней у окна стоял одиноко Филька. О нем она совсем забыла: за весь вечер не сказала ему ни слова.

Филька несколько раз позвал ее. Она подняла на него свой рассеянный взгляд.

– А завтра кто-то с Колей пойдет на каток, – сказал Филька.

– Ты, что ли? – спросила Таня.

Филька покачал головой.

– Так кто же?

– Женя.

– А-а...

Таня схватилась за деревце. Оно закачалось под тяжестью ее руки, и серебряный шарик упал и разбился о пол. Таня наступила на осколки ногой.

– Что еще просил тебя сказать мне Коля?

Но Фильке уже стало жалко ее.

Его лицо, темное, как у отца и братьев, блестело при свете свечей. Он сказал:

– А я могу свечку съесть.

Таня молча смотрела на него. А Филька на самом деле снял с пихты горящую свечку, задул ее и начал жевать.

Таня пришла вдруг в себя.

– Что ты делаешь, Филька? – закричала она. – Может быть, это вредно!

– Что ты, Таня, это вовсе не вредно, – сказал Филька. – Это немного невкусно, но зато смешно. Правда, смешно?

Действительно, Таня не могла удержаться от смеха.

А на глазах у Фильки загорелись слезы. Они, точно огоньки, светились из-под его толстых век. Он все жевал и жевал.

«Почему он как будто плачет?»

Таня огляделась вокруг, но не нашла никого, кто заставил бы Фильку плакать.

«Может быть, в эти детские свечи подмешивают какое-нибудь горькое вещество?»

Она силой отняла у него свечу.

– Ты заболеешь, Филька, – сказала Таня. – А ведь утром я хотела пойти с тобой в школу на спектакль. И зачем ты, – добавила она, – показываешь детям глупые примеры? Посмотри.

Рядом с Филькой стоял его маленький брат и тоже жевал свечку. Но он, по-видимому, не испытывал при этом никакой горечи. Его лицо с широкими скулами было только лукаво и выражало в полной мере удовольствие. А в руках он держал апельсин.

XV

Гости ушли после полуночи, и Таня всем пожелала счастья: своим дружным и недружным подругам, и охотнику, и Фильке, и отцу, и матери, и Надежде Петровне.

И Коле сказала:

– С Новым годом, Коля! Будь, друг, счастлив, и забудем об этой глупой рыбе.

Она решила больше не думать о нем.

А среди ночи Таня проснулась в страхе. Из личинок, которые она вчера положила на лежанку, вывелся молодой комар. Может быть, это был и старый комар, отогревшийся среди мотылей на печке, но только он ожил вдруг и зазвенел.

Это было так страшно! Он звенел среди ночи зимой, когда ему вовсе не следовало звенеть.

Таня сидела на кровати, глядя в темноту, и слушала этот звон, это трепетание комариных крыльев, а сердце ее стучало громко, словно колотушка ночного сторожа.

Неужели этот жалкий звук мог ее так испугать?

«Надо его убить», – подумала Таня.

Но комар пропищал еще немного и замолк. Он умер сам.

Таня же снова заснула и утром проснулась с радостью.

Мать уже ушла в больницу на дежурство, но и это не огорчило Таню. Какое раздолье было у нее на душе, как легко ее тело – оно как будто совсем потеряло свой вес.

«Что это, – думала она, – каникулы? Или, может быть, в самом деле любовь, о которой без всякой совести говорит толстощекая Женя? Ну и пусть любовь. Пусть она... Но я буду с ним сегодня танцевать на елке. И я пойду на каток. Я им вовсе не буду мешать. Я постою там с краю за сугробом и посмотрю только, как они будут кататься. И, может быть, у него на коньке развяжется какой-нибудь ремешок. Тогда я завяжу его своими руками. Да, я сделаю так непременно».

И пока Таня мылась и завтракала, она все думала об этом. И глаза ее сияли, новым впечатлением казался ей каждый шаг, каждое движение руки.

Она наточила коньки, перевязала их крепко ремешками и позвала с собой старую собаку, бросив ей на снег кусочек сахара. Та искала его, тычась мордой в разные места, но при своем слабом нюхе так и не могла найти.

И все же бедный Тигр на этот раз пошел с ней. Но, как потом рассудил он своим стариковским умом, это было совершенно напрасно. Они зря простояли целый час на реке у катка, прячась за каждый сугроб. Никого они не встретили здесь. Пусто было вокруг. А то, что увидал он внизу на реке, было даже опасно. Из-за дальнего мыса, покрытого лесом, тихо крался ветер, краем задевая скалы и с шипением сдувая снег с камней.

Так простояли они с Таней довольно долго и пошли назад. Но едва только поднялись вверх по тропинке позади рыбацких изб, как тотчас же увидели Колю. Он шел, поддерживая Женю, а она сгибалась, скользила по ледяным дорожкам, раскатанным рыбацкими детьми. И у обоих были в руках коньки.

Таня свернула налево в переулочек и притаилась за домом, сунув свои коньки в сугроб. Тигр присел рядом, подняв на нее глаза. Он не мог ее понять.

Вот уж и Коля прошел мимо, ничего не заметив, а она все продолжала стоять. Тигр покусил немного, лапы его начали дрожать. Он вспомнил запах птичьих костей, которые Коля приносил ему часто, и совесть его заныла. Он с визгом выскочил из-за дома и кинулся вслед за Колей. Тот живо обернулся.

– Тигр, ты здесь? – сказал он удивленно. – А где же Таня?

А Таня – вот она, вышла из переулка и стоит: прятаться больше не к чему. Лицо ее заливают яркая краска, более густая, чем это мог бы сделать холодный ветер, еще с утра дувший с восточной стороны.

– Тигр, – сказала она, – иди сейчас же сюда!

Коля поклонился Тане и пошел ей навстречу, как попало размахивая своими коньками.

– Ты была уже на катке, так рано? – спросил он. – А я думал, ты с Филькой пошла на спектакль в школу.

Таня оставалась неподвижной, отвернув лицо в сторону, и слова плохо повиновались ей, хотя она говорила надменно:

– Я вовсе не была на катке, ты же видишь, что коньков у меня нет. Филька сказал тебе правду. Мы идем с ним в школу на спектакль.

Коля посмотрел на руки Тани. Да, коньков у нее не было ни в руках, ни на плече.

– Так это правда? Отлично! – сказал он. – В таком случае, Тигр, иди сюда.

Таня громко крикнула:

– Не смей, Тигр!

И старая собака осталась на месте, хотя запах вкусных костей не выходил у нее из головы. Она посидела еще немного возле Тани, может быть, даже подумала, что ей делать в таком трудном случае, и, вспомнив, должно быть, про свои собственные дела, бросилась назад в переулок, оставив детей одних.

Вслед за ней быстрыми шагами удалилась и Таня.

Она шла, стараясь не оглядываться назад.

«Нет, я не буду больше прятаться от Коли за домами и сугробами, – думала Таня, шагая по улице, – не завяжу ему ремешка на коньках, и никогда не нужно этого делать».

И как мало Таня ни жила на земле и как долго ей еще ни оставалось жить, но она решила во всю свою остальную жизнь даже не вспоминать о Коле, забыть всякую мысль о нем. Ведь есть же на свете радости лучшие, чем эта, и, наверно, более легкие.

Она их знала раньше, еще совсем недавно ловя форель в реке или слушая звуки горна на линейке в одном ряду с другими. Да и сейчас Филька ждет ее в школе на спектакле, и у открытых ворот толпятся ее старые друзья.

Наконец, она может просто смотреть по сторонам, ни о чем не думая, может разглядывать свой собственный город. Он тоже доставляет ей радость. Он мал, но, как и она, дружен с ее небом, с черными от хвои лесами, и весною речные орлы любят им с высоты. Он и теперь, зимой, красив. И он не весь из дерева. Его пристань сделана из камня, и школа ее из камня, и сделан из камня новый дом, в котором плавят золото.

А сколько новых дорог выбегает к нему из леса и снова убегает в лес, где в самой глубине днем и ночью слышно дыхание высоких труб, виден новый дым над вершинами кедров! А сколько машин проходит через город, обернув цепями свои колеса, чтобы они не скользили по снегу!

А вот и старый медник тоже проходит через город и кричит на перекрестках: «Лудить, паять!» Весною он носит свой маленький рельс на плечах, а зимою тащит его на веревке по снегу, и он скользит, облегчая его труд, – бежит за медником, как собачка. Кому что надо – скользить или не скользить. Разве это плохо?

И, проводив глазами медника, стучавшего железом, Таня зашагала шире, быстрее побежала вперед к открытым воротам школы.

Возле школы толпились дети. Но странно, они не входили, а выходили из ворот. Они с криком бежали навстречу Тане, и она долго не могла понять их слов.

– Буран, – кричали они, – буран! Никакого спектакля не будет!

Матери, кутаясь в шубы, хватали малышей за руки и уводили домой. Иных же уводили отцы.

Из ворот вышла Александра Ивановна, ведя за собой ту самую девочку, чьи резвые ноги так часто пересекали Тане дорогу. А за другую руку учительницы держался маленький мальчик, который, казалось, никуда не хотел уходить.

Таня внимательно огляделась вокруг. Она подняла глаза и увидела небо, разделенное резко на два разных цвета – черный и синий. Черным оно было левей, на востоке, и стояло там прямою стеной. И флаг на городской каланче летел вперед, тоже прямой, как струна. На город надвигался буран. Он плыл высоко, он еще не опускался на землю.

Таня посмотрела на воздух сквозь пальцы. Он был темен уже и сгущался.

«Буран, – с тревогой подумала Таня, – а они на реке».

– Буран! – крикнула Александра Ивановна. – Возвращайся, Таня, домой. Скажи об этом всем, кого встретишь.

Но Таня не повернула. Она подбежала ближе.

– Я не боюсь бурана, – сказала она. – Я помогу вам. Дайте мне девочку, я отведу ее домой.

– Она живет далеко, у реки, возле барж.

– Ничего, я знаю, где она живет.

– Ну что ж, отведи, а я отведу мальчишку. Только смотри поскорей возвращайся домой, – беспокойно сказала учительница.

– Я сделаю все хорошо, – торопливо ответила Таня, – не беспокойтесь, Александра Ивановна.

Она схватила девочку за руку, и вдвоем они побежали вдоль длинной улицы, где, несмотря на полдень, хозяйки закрывали ставни на окнах и зажигали в домах огни.

Они бежали быстро, не останавливаясь, только ветер на перекрестках задерживал их.

У реки с высоты Таня увидела баржи, занесенные снегом до мачт. А направо – каток. Широкий и ровный лед был чист от снега. По краям его на вбитых кольях висели гирлянды из еловых лап. Они мотались, как снасти на шхуне, застигнутой бурей. А далеко за катком, на реке, на вершинах открытых гор, как цветы, поднимались на тонких стеблях белые крутящиеся вихри. На катке никого не было. Только две крошечные фигурки, держась за руки, катились по краю льда.

Таня сбежала вниз по тропинке и помчалась вдоль берега, поглядывая то на каток, то на девочку, уже задыхающуюся от бега.

Она остановилась на секунду.

– Это наши, – сказала девочка. – Что же ты им не кричишь?

Но вместо ответа Таня приложила ее руку к своему сердцу:

– Послушай, как бьется.

– У меня уши замерзли, – сказала девочка. – Я ничего не слышу. Идет буран, а они катаются. Почему ты им не кричишь?

И Таня снова не ответила ей. Она подняла ее на руки и понесла в дом, стоящий на самом берегу.

Через мгновение Таня снова показалась на пороге дома, уже одна. Она прыгнула вниз на лед и пошла меж барж по тропинке, где ноги тонули в снегу. Она решила несколько не торопиться. Она пойдет еще медленнее по этой тяжелой тропинке. И пусть буран засыплет ей глаза, засыплет и каток, и гирлянды из еловых веток, до самых гор пусть он покроет всю реку снегом. Она не будет торопиться. Она придет на каток и скажет им грубо: «Пора вам опомниться и разойтись по домам. Только не думайте, что я пришла сказать вам это. Я отводила девочку домой и случайно проходила мимо. Это ваше счастье, потому что я вижу – вы оба забыли всё. А если и не девочка, то мне просто нравится гулять здесь, на реке, перед бураном. Можете не верить мне, как вам угодно. Только вы видите – вот я медленно пришла сюда и уйду сейчас, ничуть не торопясь».

Так бормотала Таня, все ускоряя шаг, пока ноги не понесли ее, точно на крыльях. Она мчалась мимо замерзших барж, и темный воздух гудел в ее ушах. А дорожка оказалась самой короткой из всех. Она вскоре привела ее на каток. Но здесь Таня никого не застала. Она обвела глазами всю реку, берег, дымившийся на высоких местах. И неожиданно заметила Колю близко, почти у самых ног. Он сидел на снегу подле хвойных гирлянд, упавших от ветра, и Женя сидела рядом с ним. Мгла уже подбиралась к солнцу.

Таня грудью разорвала еловые ветки.

– Разве вы слепые? – сказала она Жене. – Скоро начнется буран, Александра Ивановна велела, чтобы все шли по домам.

Но, уже сказав это, она увидела, что Женя и без того испугана: хотя щеки ее были красны, но она вся дрожала.

– Что случилось? – с тревогой спросила Таня.

– Это все Коля устроил, – сказала Женя, дрожа. – Ему хотелось покататься со мной на коньках. Но мне страшно, здесь ветер.

– Зачем ты врешь? – сказал Коля. – Разве не тебе хотелось покататься утром?

– А разве не ты просил Фильку сказать Тане, что мы утром придем сюда? – сердито ответила Женя.

Но Таня не слушала их. Она с заботой склонилась над Колей.

Лицо его было бледно, он держался за ногу, не в силах подняться с сугроба.

– Уходи ты, глупая, – сказал он Жене. – Уходите вы обе, я останусь один.

Женя все не переставала дрожать.

– Я пойду домой, – сказала она.

Таня взяла ее за плечи, тихо повернула лицом к городу.

– Уходи, – сказала она. – Только зайди к Фильке и скажи, что мы здесь. Мамы нету дома.

– Нет, нет, я пойду прямо домой. Я боюсь – скоро начнется буран.

Женя побежала вверх на гору, рукавом закрывая от ветра лицо.

Таня опустилась на лед перед Колей, стала развязывать ремни.

– Ты ушибся? Тебе больно? – спросила она.

Он промолчал.

Кругом темнело все: река, и лед, и небо.

Пальцы ее озябли. Она грела их, изредка зажимая крепко меж колен. Коля старался не стонать. Она протянула ему руку. Он встал и снова опустился на снег.

– Ты сломал себе ногу? – сказала Таня в страхе.

– Нет, – ответил Коля, – я только слегка растянул себе жилу. Эта глупая Женя совсем не умеет кататься.

Потом она услышала его смех, между тем как смеяться ему бы вовсе не следовало.

Быть может, он смеется над ней, над ее страхом за его жизнь? Может быть, это только притворство и шутка – нога его вовсе не болит?

– Посмотри на дорогу, – сказал он со смехом, – ведь это Тигр несет твои коньки в зубах. Я так и думал, что ты их спрятала.

Она поглядела на дорогу.

Да, это Тигр бежал через лед, таща за ремешки коньки. Он положил их у ее ног и присел рядом, ожидая от нее благодарности. Она провела замерзшей рукой по его холодной шерсти. Но зачем ей теперь коньки и где он взял их? Он, наверно, вырыл их из сугроба за домом. Он тащил их по улице, пугаясь прохожих. И ветер бросал его в снег. Ему, наверно, было тяжело тащить. А все напрасно: ей теперь не нужны коньки.

– Что же мне делать? – сказала она. – И мамы нет дома. Нет никого, кроме Тигра. Но, если ты не можешь ходить, я на руках отнесу тебя до рыбацких домов. А здесь оставаться нельзя. Ты не знаешь наших буранов.

– Я не боюсь ваших буранов, – ответил упрямо Коля. – А если ты думаешь, что я испугался вашей глубокой реки и не вошел тогда в воду за этим несчастным котенком, – твое дело. Думай как хочешь. Уходи, если ты боишься.

– Нет, – сказала Таня, – я не бурана боюсь, я боюсь за тебя. Я знаю, что это опасно, и останусь здесь с тобой.

Она села на снег подле Коли. Она смотрела на него с нежностью, которую больше не хотела скрывать. И лицо ее выражало тревогу.

Он опустил голову.

– Я должен быть дома, – сказал он. – Я дал слово отцу. Ведь он не знает, где я.

– Что же мне делать? – повторила Таня.

Она отвела глаза от Коли и в раздумье поглядела на Тигра, крупной дрожью дрожавшего на летучем снегу, потом вскочила на ноги, более веселая, чем прежде.

Небо сползало с гор, расстилаясь, как дым, по ущельям. И черная даль была близка, стояла за скалами рядом. А все же самый страшный ветер еще не вышел из-за песчаной косы, где были разбросаны камни. И снег еще не падал сверху. Буран надвигался медленно.

– У нас есть время, – сказала Таня. – У Фильки собаки, а я правлю нарткой отлично. Я пригоню их сюда. Мы можем успеть. Подожди меня тут, и я отвезу тебя домой к отцу.

Только не бойся. С тобою останется собака. Она не уйдет.

Таня посадила Тигра на сугроб и дала ему лизнуть свою руку. Он остался на месте, глядя со страхом на север, где буря уже приводила в движение снег и колыхала леса на горах.

Таня взбежала на берег.

Наклонив лицо и рассекая ветер телом, она пробежала по улице, уставленной высокими сугробами. Все ворота были уже закрыты. Одни лишь ворота Фильки стояли раскрытые настежь. Только что он приехал с отцом на собаках. Он стоял на крыльце, очищая свои лыжи от снега, и, увидев вдруг рядом Таню, дышавшую громко, в изумлении отступил перед ней. А собаки лежали у ворот на дворе, запряженные в нарту, – их еще не успели распрячь. И каюр – длинная палка из ясеня – был воткнут в снег рядом с ними.

Таня схватила каюр и упала на нарту.

– Что ты делаешь, Таня! – крикнул в испуге Филька. – Берегись, они злые.

– Молчи, – сказала Таня, – молчи, милый Филька! Мне надо скорее отвезти к отцу Колю. Он вывихнул себе ногу на катке. Я сейчас пригоню твою нарту. По реке это близко.

Она взмахнула каюром, крикнула на собак по-нанайски, и собаки вынесли ее из ворот.

Пока Филька успел соскочить с крыльца и надеть на ноги лыжи, нарта была уже далеко. Но все же он бежал вслед за Таней и кричал изо всех своих сил:

– Буран, буран! Куда ты? Подожди меня!

Но Таня уже не слышала его криков.

Она сидела на нарте верхом, как настоящий охотник. Она правила отлично, держа наготове каюр. И странно, собаки слушались Таню, хотя голос ее был им незнаком.

Филька остановился. Ветер ударил его по плечам и заставил присесть на лыжи. Но он не повернул назад.

Он посидел немного на лыжах, размышляя о том, что видел, о ветре, о Тане и о себе самом. И, решив, что все хорошее должно иметь хорошее направление, а не дурное, поворотил внезапно от дома и, свернув на дорогу, ведущую в крепость через лес, побежал по ней прямо против бури.

А пока он бежал, собаки его дружно вывели Таню на лед. Она затормозила нарту возле Коли, с силой воткнув меж полозьями длинный каюр. И тотчас же собаки легли, нисколько не ссорясь друг с другом.

Коля, шатаясь от боли, встал с трудом. И все же он улыбался. Даже удовольствие светилось на его озябшем лице. Он в первый раз видел в упряжке собак, в первый раз приходилось ему ездить на них.

– Право, это неплохо придумано, – сказал он, поглядев на легкую нарту, подбитую китовым усом, и на собак, грызущих снег по сторонам. – Эти собаки не так уж злы, как об этом беспрестанно твердил мне Филька, и не так сильны на вид. Они лишь немногим больше наших шпицев.

Но Таня, лучше его знавшая их злость, необузданный нрав и постоянное желание свободы, ни на шаг не отходила от нарты. Только на мгновение отлучилась она, для того чтобы осторожно подхватить под руки Колю и усадить его в сани. Потом подняла дрожащего от страха Тигра, прижала его к груди, прыгнула в нарту и пустила собак вперед. Но как неуловимы при этом были ее движения и как верны, как зорок был взгляд, который бросала она на снег, уже начинавший шипеть и шевелиться по дороге, и как робок становился он, когда она обращала его назад – на Колю!

– Тебе не очень больно? – спрашивала она. – Потерпи, скоро приедем. Только бы успеть до бурана!

Он удивлялся. В ее глазах, тревожно горевших под обмерзшими от ветра ресницами, и во всем ее существе являлся ему иной, совершенно незнакомый смысл. Будто на этих диких собаках, запряженных в легкие сани, сквозь острый снег, царапающий кожу на лице, уносились они оба в другую, новую страну, о которой он еще ничего не слышал.

И он держался за ее одежду, чтобы не выпасть.

А метель уже занимала дорогу. Она шла стеной, как ливень, поглощая свет и звеня, как гром меж скал.

И Таня, оглушенная ветром, увидала смутно, как от этой белой стены, словно стараясь оторваться от нее, вскачь мчится по дороге лошадь. Кого уносила она от бурана, Таня не могла увидеть. Она почувствовала только, как собаки с яростью рванулись навстречу, и закричала на них диким голосом. Коля не понял ее крика. Но сама она знала, зачем кричит так страшно: собаки не слушались больше.

Точно тяжелым копьём, Таня покачала каюром и, напрягши руку, с силой воткнула его в снег. Он вошел глубоко и сломался. Тогда Таня обернулась, и Коля на одно лишь мгновение увидел на лице ее ужас. Она крикнула:

– Держись покрепче за нарту!

Она подняла Тигра высоко над своей головой и бросила его на дорогу. Он с визгом упал на снег.

Потом, словно поняв, что ему нужно делать, мгновенно вскочил и с громким воем понесся рядом со стаей. Он опередил ее, будто сам обрекая себя на гибель. Собаки заметили его. Он бросился прочь с дороги. И стая кинулась вслед за ним.

Лошадь проскакала мимо.

«Дорогой мой, бедный Тигр!» – подумала Таня.

Он прыгал по целине высоко, он тонул, он задыхался в снегу. Он, может быть, проклинал людей, которые изуродовали его тело, сделали короткими ноги, шею длинной и слабой. Но он любил эту девочку, с которой вместе играл щенком и вырос вместе, и только он один состарился. Справедливо ли это?

Он сел на снег и стал дожидаться смерти.

А Таня припала к нарте, услышав его долгий визг, и хрипенье, и стук собачьих клыков, заглушивший громкий шум ветра.

Нарта, не сдерживаемая более тормозом, налетела на сбившуюся стаю, поднялась, опрокинулась набок.

Таня схватилась за полоз. Точно молния ударила ее по глазам. Она на секунду ослепла. Бечева от саней, захлестнувшись об острый торос, лопнула со змеиным свистом. И свободная стая умчалась в глухую метель.

Никто не шевелился: ни Таня, лежавшая рядом с нартой, ни Коля, упавший ничком, ни мертвый Тигр с разорванным горлом, глядевший на выюжное небо, – все оставалось неподвижным. Двигался только снег и воздух, туго ходивший туда и сюда по реке.

Таня первая вскочила на ноги. Она нагнулась, подняла нарту и снова нагнулась, помогая подняться Коле. Падение не ошеломило ее. Как и прежде, все движения ее были неуловимы, сильны и гибки. Она отряхнула снег с лица спокойно, будто не случилось никакого несчастья.

Коля же не стоял на ногах.

– Мы погибнем. Что я наделал, Таня! – сказал он со страхом, и даже слезы показались на его глазах, но они замерзли, не успев даже скатиться по ресницам.

Коля начал снова клониться на бок, опускаться на землю. И Таня снова подхватила его, стараясь удержать.

Она закричала ему:

– Коля, ты слышишь, мы никогда не погибнем! Только нельзя стоять на месте – занесет. Ты слышишь меня. Коля, милый? Двигаться надо!

Она напрягала все силы. И так стояли они, будто обнявшись. И метель приютила их на минуту в своих облаках, а потом оглушила своим громким голосом.

Таня ногой пододвинула нарту поближе.

– Нет, нет, – крикнул Коля, – я этого не хочу! Я не позволю тебе везти меня!

Он стал вырываться. Таня обхватила его за шею. Холодные лица их касались друг друга. Она просила, повторяя одно и то же, хотя трудно было выговорить слово – каждый звук на губах умирал от жестокого ветра.

– Мы спасемся, – твердила она. – Тут близко. Скорее! Нельзя ждать.

Он опустился на нарту. Она шарфом стерла с лица его снег, осмотрела руки – они были еще сухи – и крепко завязала у кисти шнурки его рукавиц.

Ухватившись за обрывок веревки, Таня потащила нарту за собой. Высокие волны снега катились ей навстречу – преграждали путь. Она взбиралась на них и снова опускалась и все шла и шла вперед, плечами расталкивая густой, непрерывно движущийся воздух, при каждом шаге отчаянно цеплявшийся за одежду, подобно колючкам ползучих трав. Он был темен, полон снега, и ничего сквозь него не было видно.

Иногда Таня останавливалась, возвращалась к нарте, теребила Колю и, несмотря ни на какие его страдания и жалобы, заставляла сделать десять шагов вперед. Дышала она тяжело. Все лицо ее было мокро, и одежда становилась твердой – покрывалась тонким льдом.

Так шла она долго, не зная, где город, где берег, где небо, – все исчезло, скрылось в этой белой мгле. И все же Таня шла, склонив лицо, нащупывая дорогу ногами, и, как в самый страшный зной, пот струился по ее спине.

Вдруг послышался выстрел из пушки. Она сняла шапку, послушала, подбежала к Коле и снова заставила его подняться с саней.

С трудом выталкивая из горла звуки, она закричала. Но крик ее показался не громче шороха сухих снежинок.

– Ты слышал, пушка стреляет из крепости. Может быть, это нам подают сигнал.

Он слабо кивнул ей головой. Оцепенение охватывало его все сильнее. И Таня уже не усадила больше Колю в сани, но, обхватив за пояс и положив его руку к себе на шею, потащила снова вперед, заставляя все же передвигать ногами. А нарта осталась на месте.

Они свернули налево, откуда послышался еще один выстрел. Этот был уже громче и прошелся по всей реке.

Таня крепче налегла на ветер грудью, благословляя силу своих легких, помогавших ей как-нибудь дышать в эту страшную бурю, и силу своих ног, несущих ее вперед, и силу рук, не выпускающих из своих объятий друга.

Но порой на мгновение нападал на нее страх. И тогда казалось ей, что она одна в мире среди этой вьюги.

Меж тем навстречу ей, окруженные той же метелью, двигались на лыжах пограничники. Они шли густой цепью, раскинутой далеко по реке. В руках у каждого была длинная веревка, конец которой держал другой. Так были они соединены все до одного и ничего не боялись в мире. Такая же мгла, такие же торосы, такие же высокие сугробы, катившиеся вперед и назад, вставали перед ними, как и перед Таней. Но стрелки легко сбегали с них и легко взбирались, не тратя напрасно дыхания. А если ветер был очень силен, они гнулись к земле, будто стараясь под ним проскользнуть.

Так приближались они к тому месту, где находилась Таня. Но и в двух шагах ее не было видно. По-прежнему одинокой казалась среди вьюги и эта девочка с лицом, обледенелым от пота, держащая на руках своего ослабевшего друга. Она еще двигалась вперед, но и у нее уже не было сил. Она шаталась от каждого порыва ветра, падала, снова вставала, протягивая вперед только одну свободную руку. И вдруг почувствовала под своим локтем веревку. Она судорожно вцепилась в нее. Это могла быть и веревка от баржи, вмерзшей поблизости в лед. Но все же, перебирая рукой по канату, Таня закричала:

– Кто тут, помогите!

И неожиданно коснулась шинели отца.

Во мгле, без всяких видимых признаков, не глазами, ослепленными снегом, не пальцами, помертвевшими от стужи, но своим теплым сердцем, так долго искавшим в целом мире отца, почувствовала она его близость, узнала его здесь, в холодной, угрожающей смертью пустыне, в полной тьме.

– Папа, папа! – закричала она.
– Я здесь! – ответил он ей.
И лицо ее, искаженное страданием и усталостью, покрылось слезами.
– Он жив, – сказала она, толкая Колю к отцу, и сама, вся содрогаясь от громкого плача, припала лбом к его коленям.
Он присел на корточки и, сорвав с себя шинель, укутал прижавшихся к нему детей.
Что с ним? Он тоже плакал, и лицо его, искаженное страданием, как у Тани, было совершенно мокро. Но, впрочем, это мог быть и снег, растаявший от дыхания под его теплым шлемом.
– Филька... Филька прибежал к нам, – сказал отец.
– Филька, Филька! – повторила громко Таня, хотя Фильки не было здесь.
Минуту-две они оставались без движения. Снег наползал на них все выше.
Отец сильно дернул за веревку. Справа и слева стали появляться красноармейцы, не выпуская из рук бечевы. Они, как белые клубы снега, возникали из вьюги и останавливались подле детей.
Последним подошел красноармеец Фролов. Он был весь укутан метелью. Ружье его висело за плечами, а лицо было в снегу.
– Нашли! – сказал он. – Я говорил, что найдем. Без того невозможно.
Красноармейцы тесным кругом окружили детей и полковника, и вся толпа двинулась среди вьюги назад.
А из крепости раздался еще один выстрел.

XVI

Давным-давно прошел тот день, когда Таня так храбро билась со мглой и с облаками холодной вьюги за свою живую душу, которую в конце концов без всякой дороги отец нашел и согрел своими руками.
Ветер наутро повернул и остановился надолго. Тихо стало на реке, и над горами было тихо – над всем миром Тани. Ветер сдул с кедров и елей снег: леса потемнели. И взгляд Тани, опираясь теперь на них, спокойно стоял на одном месте, не ища ничего другого.
Коля только слегка поморозил себе уши и щеки.
Таня с Филькой каждый день навещали его в доме отца, нередко оставаясь обедать.
Но час обеда не казался Тане теперь таким тяжелым часом, как прежде. Хотя не так усердно угощал ее пирогами с черемухой отец, не так крепко целовала ее на пороге Надежда Петровна, а все же хлеб отца, который Таня пробовала на язык и так и этак, казался ей теперь иным. Каждый кусок был для нее сладок.
И кожаный пояс отца, валявшийся всегда на диване, казался ей тоже другим.
Она часто надевала его на себя.
И так хорошо Тане не было еще никогда.
Но не вечно тянулись каникулы. Кончились и они. Вот уже несколько дней, как Таня ходила в школу.
Она носила книги без ремешка и сумки. И всегда, прежде чем снять свою дошку, бросала их в раздевалке на подзеркальнике.
Сегодня она поступила так же.
Она бросила книги и, сняв дошку только с одного плеча, взглянула в зеркало, хотя всегда избегала смотреть в него, потому что это было то самое зеркало, которое когда-то так жестоко наказало ее.
Но теперь, погрузив свой взгляд в стекло, она устремила его не на свое лицо и не в свои глаза, в глубине которых по-прежнему ходили легкие тени, но на другое зрелище, не имевшее как будто никакого отношения к ней.

Она увидела толпу детей, стоявшую полукругом напротив. Все они были спиной повернуты к зеркалу, а головы их подняты вверх. Они читали газету, висевшую под железной сеткой на стене.

И Женя, стоявшая ближе других к стене, сказала:

– За такие дела ее следовало бы исключить из отряда.

– Выбросить просто вон, – сказал толстый мальчик, поступивший в школу вместе с Колей.

Не понимая, к кому могли относиться эти слова, Таня не торопилась подойти.

Но все же, отведя глаза от зеркала, она подошла к толпе. Газету она узнала. Это была районная газета, которую выписывал отряд.

Она спросила:

– Что тут происходит?

Услышав ее голос, дети повернулись к ней и снова отвернулись и исчезли вдруг все, как один.

Таня привыкла чувствовать всегда рядом с собой друзей, видеть их лица и, увидев сейчас их спины, была изумлена.

– Что это значит? – вскрикнула она.

Ей никто не ответил.

Тогда она подняла руку к железной сетке, запертой на замок, и прочла:

«Школьные дела.

В школе № 2 творятся чудовищные безобразия. Ученица седьмого класса Таня Сабанеева в буран повезла кататься на собаках ученика того же класса Колю Сабанеева. Мальчик после этого пролежал в постели все каникулы. А ученик того же класса Белолубский, прибежавший в крепость сообщить об этом отцу Коли, отморозил себе палец. Детей спасли наши славные пограничники. Но о чем думают учителя и пионерорганизация, допуская в школьной среде подобные затеи, опасные для жизни?»

– Что это значит? – повторила тихо Таня, оглядевшись вокруг и не увидев близ себя никого, кроме Фильки.

Он стоял прямо.

И Таня поняла, что это значит. Она поняла, что холодные ветры дуют не только с одной стороны, но и с другой, бродят не только по реке, но проникают и сквозь толстые стены, даже в теплом доме настигают они человека и сбивают его мгновенно с ног.

Она опустила руки. Дошка соскользнула с ее плеча и упала на пол. Она не подняла ее.

– Но ведь это все неправда, Филька, – сказала она шепотом.

– Конечно, неправда, – тоже шепотом ответил он и показал ей свой палец, обмотанный длинным бинтом. – Мне вовсе не больно. Чего они выдумали, не знаю. Но ты послушай меня. Послушай, Таня.

А Таня, открыв губы, глотала воздух, показавшийся ей теперь острее, чем на реке, в самый сильный буран. Уши ее ничего не слышали и глаза не видели. Она сказала:

– Что со мной будет теперь?

И, схватившись за голову, кинулась в сторону, стремясь по обыкновению своему в сильном движении успокоить себя как-нибудь и найти какое-нибудь решение.

Широко шагая, как шагают во сне, она шла по коридору, ударяясь плечом о стену, натываясь на малышей, с визгом разбегавшихся перед нею. За углом она обошла старичка, замахавшего на нее деревянной указкой. Она даже не поклонилась ему, хотя это был директор. Старичок с глубокой грустью покачал ей вслед головой и посмотрел на учителя истории Аристарха Аристарховича Аристархова, дежурившего в этот день в коридоре.

– Это она, – сказал Аристарх Аристархович Аристархов, – и я вовсе не жалею, что сообщил об этом случае в газету.

А Таня все шла по коридору. И в ровном шуме множества детских голосов, в котором исчезал каждый звук, кипело и стучало ее сердце. Но что делать? Все становилось поперек ее

дороги.

«А друзья? Где они?» – думала Таня, хотя уходила от них сама и сейчас никак не могла их видеть.

XVII

Никто лучше самого Фильки не знал, была ли в его сердце хоть какая-нибудь иная мысль, чем помочь Тане как можно скорее. А все же он не был доволен ни своим собственным поведением, ни поведением друзей в этот день.

Первое мгновение он было кинулся вслед за Таней по коридору, но, увидев за углом Аристарха Аристарховича Аристархова, его плечи, поднятые чрезмерно высоко, его равнодушные очки, его руки, занимавшие так много пространства, что, казалось, никому больше не оставалось места на свете, Филька остановился невольно и решил вернуться назад.

Но и в раздевалке он тоже не увидел ничего хорошего. В темноте между вешалками у газеты все еще толпились дети. Книги Тани были сброшены с подзеркальника на пол. И тут же, на полу, валялась ее дошка, подаренная ей недавно отцом. По ней ходили. И никто не обращал внимания на сукно и бисер, которыми она была обшита, на ее выпушку из барсучьего меха, блестевшего под ногами, как шелк.

Усвоив себе странную привычку время от времени размышлять, Филька подумал, что если бы старинные воины – и не старинные, а другие, которых он видит сегодня под суконными шлемами с красной звездой, – не помогали друг другу в походе, то как бы они могли побеждать? Что если бы друг вспоминал о друге лишь тогда, когда видит его, и забывал о нем, как только друг ушел в дорогу, то как бы он мог когда-нибудь вернуться назад? Что если бы охотник, обронивший свой нож на тропинке, не мог спросить о нем встречного, то как бы он мог заснуть спокойно всегда один, в лесу, у костра?

Размышляя так, Филька опустился на колени в пыль среди толпы, и многие наступали на его пальцы. Но все же он собрал книги Тани и, ухватившись за Танину дошку, изо всей силы старался вырвать ее из-под ног.

Даже и это не так-то легко было сделать. Наступив на нее тяжелыми валенками и не двигаясь с места, стоял на ней толстый мальчик, которого Таня всегда принимала за бестию. Он кричал на Колю:

– Я это могу тысячу раз повторить! Да, могу повторить: надо выбросить твою Таню вон из отряда.

А Коля в теплой шапке – он еще не успел ее снять, – подняв бледное лицо, молча смотрел ему в глаза. И от гнева у него не хватало голоса.

Он тихо произнес:

– Ну, скажи еще что-нибудь про нее, и я не посмотрю, что ты такой толстый, – я скручу тебя, как щенка, и выброшу на улицу!

– Это ты-то меня скрутишь? – с громким хохотом ответил мальчик. – Да ты меня с места не сдвинешь!

Коля схватил его за грудь, но, ослабевший после болезни, не мог его даже покачнуть.

А меж тем мальчик занес уже руку над Колей, готовый стукнуть его кулаком.

Тогда Филька, не размышляя больше ни о чем, распрямил свою ладонь, очень твердую от привычки хвататься за деревья, и ребром ударил толстого мальчика под колени с такой силой, что тот кубарем полетел на пол.

Коля не успел получить удара. А Филька быстро выхватил дошку и, бережно отряхнув ее от пыли, повесил на крючок. Таким образом, он сделал сразу два дела и немедленно принялся за третье. Он подошел к мальчику, ошеломленному от падения, и, взяв его за плечи, осторожно поставил на ноги. Потом погрозил ему обмороженным пальцем, на котором повязка была уже вся в грязи и болталась.

– Ты у нас в городе и в школе еще совсем чужой, – сказал Филька, – и я прошу тебя

очень: будь хоть раз человеком. И ты будешь им, я даю тебе честное слово!

Он успел сказать это как раз вовремя, потому что в ту же минуту заметил перед собой Аристарха Аристарховича Аристархова. Руки его были на этот раз опущены и не занимали много места, так как рядом по одну сторону от него стоял Костя-вожатый, человек еще совсем юный, а по другую – директор, старый и добрый человек.

– Сейчас же отыщите Татьяну Сабанееву и пришлите ко мне, – сказал Аристарх Аристархович.

И в голосе его они не услышали ни одного звука, похожего на милость.

Тогда толстый мальчик посмотрел на Фильку, Филька – на него, и оба они взглянули на Колю и втроем низко поклонились Аристарху Аристарховичу Аристархову.

Им уж не хотелось ни драться, ни ссориться друг с другом.

– Где же мы ее найдем? – сказали они. – Мы ее нигде не видели. Как же мы ее к вам пошлем, Аристарх Аристархович?

Сказав так, они отодвинулись в сторону и, обнявшись, пошли, занимая всю дорогу и напевая негромко песенку, знакомую всем:

Не надо, не надо, не надо, друзья,
Гренада, Гренада, Гренада моя...

XVIII

Целое утро они пели эту песенку, а Таня все не приходила в класс. Когда же не пришла она на уроки и в последний час, они перестали петь. Они сидели тихо, как все остальные, и пальцы не держали пера, память ничего не помнила.

Так же тиха и рассеянна была и Александра Ивановна. Ее лицо, которое нравилось им всегда своей красотой и весельем, теперь выражало тревогу, и звездочка ее сияла им в глаза как будто не так ярко, как прежде.

– Где же она, куда могла уйти? Вот уж последний урок, а Тани нет ни здесь, ни дома. Неужели мы не найдем ее, дети? – спрашивала Александра Ивановна. – Ведь есть же у нее друзья! Или нет их – так выходит?

Странен был вид опустевшей после занятий школы. Шум утихает, как дождь, пролившийся внезапно над лесом. Еще под тяжестью капель вертится лист на осине, а среди елей уж бродит молчание.

Тихо и в школе. Иногда лишь, как последняя капля, упавшая с ветки на корень, прозвенит детский голос в самом конце коридора или, как ветер по камням, промчатся по цементным плиткам чьи-то быстрые ноги.

А сегодня как долго не прекращались шаги! Дети бродили по коридору и в конце и в начале его. Они выходили во двор и обходили вокруг часового, искусно сделанного Таней из льда. Влажный ветер изъел его плечи, на шлеме висели сосульки, а все-таки он глядел далеко, он еще видел суровое море.

– Может быть, она снова ушла на реку, – сказал Фильке Коля.

«А может быть, она снова в рощице стоит одна и плачет», – подумал Филька про себя.

Они разошлись у ворот.

Коля прибежал на каток. Он спустился к баржам, прошел по тропинке, засыпанной снегом, ступил на край чистого льда. Трудно было узнать теперь реку. И вблизи и вдали снег лежал спокойно. Стыли и блестели горы. Вокруг катка не качались гирлянды из еловых лап. Они упали, ушли под сугробы, как в сыпучий песок.

Коля несколько раз прокричал. Но река вокруг только ослепляла его и молчала.

А совсем на другом конце города звал Таню Филька. Он стоял на опушке рощицы, как стоял уж здесь однажды в кустах. Тогда шел первый снег, такой легкий, что, казалось, весь его, со всей рощей, можно было унести на ладони. А теперь от тяжести снега согнулись у

старых елей ветви, молодые березы ушли в него по грудь. Но Филька все же кричал. И если б хоть эхо ответило на его мольбы и крики, он лег бы под кусты и заплакал – даром что был один.

Однако никто не отвечал. И Филька ушел назад по глубокому снегу.

С Колей они снова сошлись у ворот. Затем забрались в раздевалку, в самый дальний угол, и здесь с тревогой поглядели друг другу в глаза.

– Что теперь делать? – спросил Филька.

И вдруг услышали они тихий плач. Плакал кто-то в темноте у стены, где сторож складывал дрова для печки.

– Таня! – крикнули они оба и подошли.

Но это плакала Женя, втиснувшись между стеной и печью, и лица ее не было видно.

Филька повернул ее за плечи к себе.

– Ты никуда не ходила? – спросил он.

– Нет, – ответила Женя.

– Так чего же ты плачешь?

– А может быть... – сказала она, плача, – может быть, она уже умерла.

Тогда Коля, который ни о чем не спрашивал и ни о чем не говорил, отошел в угол и сел на пол, прижав к коленям голову.

Между тем наверху в комнате, о которой все забыли и где обычно хранилось пионерское имущество, спала Таня.

Флажки и плакаты на длинных древках со всех сторон окружали ее. Портреты висели наклонно, как птицы, готовые сняться со стены, барабаны валялись на подоконнике, горны блестели на гвоздях.

Пионерское имущество! Мир звучащих предметов смотрел на нее из углов.

Как горько было расставаться с ним даже во сне.

Даже во сне, говорю я, потому что, увидев, как тяжело это было для Тани, благостный сон пришел к ней, и она крепко заснула в этом углу, где просидела с самого утра на толстом матрасе, набитом опилками.

Но и этот добрый сон ничего не мог поделать с ее недремлющим воображением.

И снилось ей собрание звена.

Снилось Тане, будто в этой самой комнате, где она спит, сидят ее друзья – кто где: на барабанах, на табуретах, на деревянной кобыле, обитой черной клеенкой. Движения их грозны, лица суровы, и каждый взгляд направлен прямо в сердце Тани, но не доходит до него. Он дрожит и ломается, точно луч, заслоненный внезапно рукой.

– Судите ее страшной местью, – говорит человек, которого Таня не знает.

Одежда его необычна: к шинели пришта пелеринка, воротник из куницы блестит на его плечах, а лица совсем не видно – длинные волосы закрывают его с боков.

– Судите ее, – говорит он снова, – она жестока.

– Да, да, она жестока, – повторяет за ним Женя. – Это она велела зажарить мою красивую рыбу. А ведь рыба была золотая.

– Судите ее – она завистлива.

– Да, да, она завистлива, – повторяет толстый мальчик. – Она завидует Коле, это мы видели все. Она повезла его в буран, чтобы совсем погубить.

А голос Тани нем, губы мертвы, ничего он не может сказать.

И человек в пелеринке подходит к ней ближе, а Таня отступает к стене. Она со страхом узнает в нем Гоголя, портрет которого висит над дверью.

– Ах, я так несчастна! – шепчет ему еле слышно Таня. – Кто защитит меня? Я ничего не знаю.

Она переводит свой взгляд повыше и видит: светлые облака, проходящие мимо в небе, заглядывают потихоньку в окно. Все они высокие, все одеты в блестящие латы, и блеск их лат, падая на пол, журчит и струится подобно маленьким ручейкам. И все они стремятся к Тане.

Она подбирает ноги и легко отрывается от земли.

Она летит, как летают все во сне. Никто ее не может догнать. И комнаты давно уж нет, и любимое дерево Тани, растущее во дворе под окном, остается далеко внизу. Как ловко обогнула она его вершину, не задела ни одного листка!

Широкий свет простирается во все стороны от тропинки, по которой она теперь идет.

Она поднимается в гору. Кусты голубики шумят у нее под ногами. И все круче тропинка – вода и камни катятся по ней со звоном.

И с вершины открывается перед Таней лес, уходящий далеко по склону. Но какой это странный лес! Она никогда не видела такого. Это не лес и не мелколесье, которое она знает с детства. Низкие деревья держат свои ветви простертыми прямо над самой землей. И все они покрыты белыми цветами. В тихом воздухе кружатся лепестки, нежно розовея на солнце.

– Что это? – спрашивает Таня в восторге.

И в звоне воды и камня слышится ей ответ:

– Это цветут сады, Таня.

«А где же тут пихты? – хочется Тане спросить. – Я их не вижу совсем».

Но лес исчезает.

Она отправляется дальше и идет теперь уже по ровной дороге, где нет ни камней, ни склонов, и останавливается на краю ржаного поля. Тени знакомых орлов плывут по нему, и перед взором Тани поле колыхается вверх и вниз, точно небо во время качки. А колосья шуршат и трутся друг о друга.

– Как красиво! Что это? – спрашивает Таня, замирая.

И в ровном шуме поля слышатся ей слова:

– Это зреют наши хлеба.

– Ах, я люблю, я люблю, – беззвучно шепчет Таня. – Или все это сон? Все сон! Ну конечно, я сплю. Ведь мы живем так далеко.

Но солнце внезапно темнеет. И Таня видит, как черная туча в клубках тумана и в клочьях мчится над полем прямо на нее. Никогда не виданные, тонкие, как волос, молнии скачут в шумящую рожь, и Таня в ужасе падает на колени. Долгий гром прокатывается по небу от края до края его. Сон кончился, но Таня не проснулась, и гром продолжал греметь.

В коридоре перед дверью комнаты стояла маленькая девочка. На шее ее висел барабан. Она стучала, пристально глядя, как легкие палочки прыгают в ее руках.

Она упражнялась.

И на этот гром, на отзвук его, раздавшийся в гулком коридоре, поднялись по лестнице дети: сначала Коля, за ним Филька, и Женя, и толстый мальчик, ступавший по ступеням тяжело. А Костя-вожатый вдел рядом с Александрой Ивановной, и голоса их были тихи – они не будили эха под потолком.

Девочка же продолжала стучать.

Коля остановился возле двери и подождал, пока не подойдут остальные.

– Вот свободная комната, – сказал он, – мы можем здесь провести собрание нашего звена.

Он открыл дверь и вошел тихо первый, не глядя по сторонам. Но, и не глядя, искал он Таню то мыслью, то сердцем, все время думая о ней. И неожиданно увидел ее в углу на толстом матрасе, который подстилают под ноги при очень высоких прыжках.

Он открыл губы, чтобы произнести ее имя, и не произнес. Он присел на корточки, чтобы тронуть ее за плечо, и не тронул, потому что она еще крепко спала и ресницы ее были влажны, а лицо уже высохло от слез.

И Коля, обернувшись к другим, замахал на них руками. Все остановились, глядя, как Таня спит.

– Пусть спит. Не трогайте ее никто, – сказала шепотом Женя, потому что у нее было

вовсе не злое сердце, хотя чаще, чем другие, она была права и заставляла Таню плакать. – Неужели мы не можем провести это собрание без нее? – добавила она. – Ведь Коля же нам все рассказал, мы знаем правду.

Александра Ивановна подумала немного. Она посмотрела каждому в лицо и увидела, что это желание было добрым. Она закрыла рукою губы – они против воли ее улыбались.

– Конечно, мы можем, дети, – сказала она. – Я разрешаю вам это. Я думаю, что Костя согласится со мною.

И Костя-вожатый, тоже посмотрев каждому в лицо, увидел, что это желание было общим.

– Хотя я за пионерскую дисциплину, – сказал он, – но по такому случаю мы, разумеется, можем. Это решение общее. А если так, то мы можем всё.

Тогда Коля поманил к себе Фильку и сказал ему:

– Если мы можем всё, то выйди отсюда и шепни на ухо барабанщику, что я его сейчас убью.

Филька вышел.

Он слегка ударил девочку по спине между лопатками. Но и от этого слабого удара она присела, ноги ее подогнулись. Она перестала стучать.

– Человек заснул, – сказал ей Филька, – а ты гремишь на весь мир. Неужели нет в тебе никакой совести? Хоть самой маленькой, какая должна у тебя все-таки быть по твоему малому росту?

И все удалились прочь, неслышно шагая гуськом друг за другом, и за ними шла девочка с барабаном, подняв свои палочки вверх.

XIX

Дети не разбудили Таню. Она проснулась среди тишины и ушла сама, и румяный от заката воздух проводил ее до самого дома. Он облегчил ее грудь, голову, плечи, но совесть продолжала болеть.

Как расскажет она все это матери, как сможет ее огорчить?

Но дома, кроме старухи, она снова никого не застала.

И впервые Таня рассердилась на свою мать.

Она не попросила чаю у старухи, ничего не съела и, не снимая одежды и обуви, легла в постель, хотя мать всегда запрещала ей это делать.

«Но пусть, – решила Таня. – Что же я сделала дурного и кто виноват, что все так случилось, что нет у меня ни сестер, ни братьев, что я одна жду сейчас неведомого наказания, что старуха стара и что в целом доме некому слова сказать? Что всегда одна, что всегда сама? Кто в этом виноват – не мать ли? Ведь почему-то оставил ее отец и ушел. Почему?»

Таня лежала долго, не зажигая огня, пока устремленный в сумрак взгляд ее не устал и веки не погасили его.

Таня как будто не дремала, готовая чутко встать на голос матери или на звук ее шагов.

Однако она не слышала их.

Мать потрясла ее за плечо. Таня очнулась. Огонь уже горел, но сон не отошел от нее, и среди смутных предметов и чувств, окружавших ее во сне, увидела она склоненное над собой лицо матери. Оно тоже было смутным, точно тень покрывала его, и выражало оно такое же смутное волнение и недовольство, а взгляд стоял неподвижно на одном месте. И Тане вдруг показалось, будто рука матери поднимается над ней для удара.

Она вскрикнула и села.

Мать же только хмурилась.

– Зачем ты спишь в одежде? – сказала она. – Встань, ведь я просила тебя этого не делать.

Но не об одежде думала мать – Таня видела это...

– Встань, – повторила мать, – и выпей чаю. Я только что была у директора в школе. Меня вызывали. Встань же, мне надо с тобой поговорить.

А Таня не шелохнулась, не встала.

Она сидела, уцепившись за край деревянной кровати, и мать опустилась рядом с ней на постель.

Она чуть прикоснулась к Тане. Но и в этом легком прикосновении она почувствовала все огорчение матери.

– Как же так все у тебя случилось? – спросила мать.

– Это неправда, – ответила Таня. – Неужели ты поверила?

И голос Тани был приглушен, будто затуманен ее долгим молчанием.

Она сегодня не сказала и двух десятков слов.

– Я не поверила, и никто не поверил, кроме Аристарха Аристарховича. Он требовал даже, чтобы тебя исключили.

– Почему? – глухо спросила Таня.

– Он смешно говорил об этом, – сказала мать. – «Ибо потому, – говорил он, – что ты засоряешь детские кадры». Да, он очень смешно говорил об этом, – повторила мать и сама улыbnулась немного.

А Таня нисколько не улыbnулась.

Мать продолжала.

– Но у тебя много друзей – этому я рада, и Александра Ивановна тебе друг, и директор у вас добрый и умный человек, хотя он очень сердился на твоего отца.

– Разве и папа был там? – спросила Таня с испугом.

– Да.

Мать прикрыла глаза, лицо ее как будто осунулось за этот вечер.

– Не эта история с газетой огорчает меня, Таня, – сказала она тихо, – но ты: ты ничего мне не рассказываешь. Я все узнаю стороной: про Колю, про твое странное поведение и странные желания, за которые дети прозвали тебя дикой собакой динго. А дома ты теперь всегда молчишь. Неужели ты боишься меня, или не уважаешь, или не любишь? Ответь мне.

Таня повела головой. Ей трудно было говорить.

– Я всегда одна, я всегда сама, – еле слышно сказала Таня. И добавила еще тише: – Почему отец ушел от нас? Кто виноват в этом, ответь мне.

Теперь мать молчала минуту-две, может быть, больше.

И Таня ни разу не посмотрела ей в лицо: не хватило духу это сделать.

Но вдруг она услышала ровный и спокойный голос матери. Ни один звук не дрожал на ее губах.

– Таня, – сказала мать, – люди живут вместе, когда любят друг друга, а когда не любят, они не живут вместе – они расходятся. Человек свободен всегда. Это наш закон на вечные времена.

Тогда Таня решилась посмотреть на мать, сначала осторожно, снизу вверх, повернув шею, как маленькая птичка, которая, прежде чем сняться с ветки, ищет, нет ли в небе опасности.

Мать сидела неподвижно, высоко подняв голову. Но лицо ее выражало страдание, словно кто-то пытал ее долго словами или железом – все равно, но только ужасной пыткой.

«Кто это сделал?» – подумала Таня с болью, внимательно вглядываясь в лицо матери.

А с этого бледного лица смотрели на нее самые прекрасные в мире глаза – глаза ее матери, до краев наполненные влагой; она блестела на зрачках, и под ресницами, и в углах ее темных век.

– Не уехать ли нам лучше, Таня? – сказала мать.

Таня схватилась за грудь.

– Мама, – крикнула она с изумлением и с глубокой жалостью, – ты любишь его до сих пор!

Она обхватила рукою голову матери, горячей щекой прильнула к ее волосам, обдавая их своим детским дыханием.

– Мама, не слушай меня, не слушай, родная! Я ничего не понимаю больше. Все кружится передо мной.

И в эту минуту почудилось Тане, что весь мир в самом деле кружится над ее головой. Он показался ей странным, как тот непонятный шар, о котором поет в своей песне юный Максим:

Крутится, вертится шар голубой,
Крутится, вертится над головой, –

то матовый, словно вечерний туман за окном, то лазоревый и блестящий, как родная река, освещенная солнцем с утра, как сад и поле, которые она видела во сне.

Крутится, вертится – хочет упасть...

– Мама, не надо уезжать отсюда, – шептала Таня, плача вместе с матерью.

XX

– Бывают разные виды любви, – сказала толстая девочка Женя.

Она сидела в своей комнате с Таней у окна, перед большим аквариумом, наполненным свежей водой.

Они не враждовали больше. И обе девочки смотрели сквозь стекло и воду на улицу, где за окном давно уже стояла весна. Но вода и стекло искажали ее. Маленькие плененные рыбки хвостами раздробляли огромное солнце, вольно плывущее мимо, и на тонких лучах, как на канатах дивные плясуньи, танцевали над забором пылинки. Старый медник кричал на перекрестке, стучал по железному рельсу, и Тане казалось, что это он вместе со своим железом принес в город на плечах весну.

– А ты любила когда-нибудь? – спросила Таня.

– Любила, – ответила Женя, – только это было давно, еще в третьем классе.

– Но как же ты узнала об этом?

– Очень просто. Он просит, бывало: «Женя, покажи мне задачу». А я знаю, что показывать нельзя. «Не буду», – говорю себе. Но он скажет: «Женя, я больше не буду дразнить». Ну и покажешь. Ничего с своим сердцем поделывать не могла. А теперь прошло. Увидела, что плохо стала заниматься, и бросила. Решила – довольно!

– Но как же ты это сделала? – с любопытством спросила Таня.

– Очень просто! Перестала смотреть на него. Не смотрю, не смотрю – и забуду.

Таня разогнула спину, но не перестала смотреть на стекло и на воду, потом без улыбки остановила внимательный взгляд на подруге. Всей душой позавидовала она ее круглым щекам, ее трезвой голове, полной столь удивительных мыслей, и вздохнула. И губы ее, сложенные для вздоха, издали тихий свист.

– Не свисти, – сказала Женя, – это приносит несчастье в дом.

И Таня сдержала дыхание в этом доме, где зимой расцветали царские кудри и среди тонких водорослей жили золотые рыбы.

Обе они помолчали.

– Да, это правда, – сказала Таня, – бывают разные виды любви, – и внезапно ушла, не промолвив больше ни слова.

А старый медник все продолжал кричать на перекрестке, звенеть железом, и за окном стояла весна.

В рощице за домом Тани тоже стояла весна, та же самая. Она подняла траву у подножия каменных березок, свежим мхом согрела корни синих пихт. И пихты покачивали своими густыми, тяжелыми ветвями, сами на себя навевая теплый ветер.

Таня окликнула Фильку. Он ответил ей с дерева, болтая босыми ногами. Своим острым, как шило, ножом чинил он карандаш, а на коленях лежали тетради и книги – тяжелый для мальчика груз, под которым гнулась не только его голова, но и качались как будто вершины деревьев, весь лес ходил вокруг ходуном.

Он учился усердно.

И Таня с того страшного дня на реке не покидала его. Они занимались вместе, и ее резвая память приходила им на помощь обоим.

Таня схватилась за толстый сук, подпрыгнула и тоже взобралась на дерево.

Это была даурская береза, почти без листьев, выросшая криво над землей. Так удобно было сидеть на ней рядом!

– Завтра последнее испытание, – сказал с укоризной Филька, – а ты уходишь на целый час. Сама все знаешь, а другой человек пусть пропадает. И он пропадет. Я даю тебе слово. И, может быть, чтобы он не пропал, ему нужно учиться, – с горечью заметил Филька, – а тебя, когда надо, нет.

– Филька, – сказала ему Таня, – ты бы мог и один выучить эту теорему за час, пока я ходила к Жене.

– А что ты скажешь, – с грустью возразил Филька, – если я ее учу, учу, а она катится от меня, как на колесах?

– Тогда начнем скорей.

Таня, протянув руку, взяла у Фильки свою тетрадь.

– Если две окружности имеют общую точку... – сказала она, глядя на кипевшую от ветра листву.

Но Филька все продолжал чинить карандаш, и охотничий нож его сверкал на солнце, точно крыло лесного голубя.

– Нет, подожди, – сказал он, – ты скажи мне сначала всю правду. В самом ли деле пойдешь ты сегодня на рассвете с Колей на мыс?

– Я сказала тебе правду.

– И для этого надела ты свое нарядное платье и не жалеешь его нисколько?

– Да.

– А если Коля испугается и не придет на мыс?

– Он придет, – сказала Таня, не отрывая глаз от листвы.

– А если отец узнает?

– Он не узнает.

– Ты не боишься разве, что кто-нибудь скажет ему?

Таня пожала плечами:

– Кроме тебя, никто не знает. А ведь ты не скажешь.

Но она все же взглянула на Фильку с подозрением: не смеется ли он. Но никогда в жизни Филька не был так серьезен.

– Я знаю это место, – в раздумье сказал он. – Там на заре всегда пасутся фазаны. Хорошо их стрелять по утрам... Но ты не ходи. Я тебя, как девочку, прошу.

– Нет, я пойду, – ответила Таня.

И по голосу ее Филька понял, что и Тане доступно упрямство.

Все, что мог он спросить, то спросил; все, что мог он сказать, то сказал. Что еще осталось делать?

Он молча посмотрел на Таню. Солнечный свет горел на ее лице, на руках, на легком, красивом платье, которое она не боялась испортить. И он подумал:

«Напрасно, однако, я все это спрашивал. Она ничего не боится».

И в эту минуту в глазах Тани он увидел необычайный страх, которого никогда не видел ни во взгляде ее, ни на ее лице.

Он отодвинулся с невольным испугом:

– Что с тобой?

– Гусеница!.. – крикнула Таня.

Она оттянула платье на шее, крепко сжав его в узелок, и с ужасом повторила несколько раз:

– Гусеница, гусеница! Вот она здесь. Противно! Режь скорей!

Самую малую долю секунды Филька колебался, глядя на свой нож, которым добывал муравьиный сок, и резал серу, и делал столько приятных для Тани вещей.

И вдруг, взмахнув им, отхватил изрядный кусок Таниного платья.

Ничего не испытывая, кроме страха и отвращения, Таня в первое мгновение все еще сжимала в руке отрезанный кусок ткани, затем медленно развернула его. Вместо страшной гусеницы на руке ее лежал обыкновенный сучок.

Страх на лице Тани сменился недоумением, недоумение – отчаянием, когда она увидела на своем платье огромную дыру. Она всплеснула руками:

– В чем же я теперь пойду? Зачем ты это сделал, Филька?

– Нарочно, – сказал он, – хотя ты сама меня об этом просила. Но, может быть, ты теперь не пойдешь на мыс?

– Все равно я пойду. Я пойду, я пойду! – закричала Таня и, спрыгнув с дерева, скрылась, утонула в роще.

И Филька не успел даже заметить, как исчезла она меж черных и белых берез.

Словно вихрь умчал от Фильки друга.

Он остался на дереве один. Геометрия, лежавшая у него на коленях, упала в траву. Полосатый бурундук, самый любопытный из всех живущих в этой роще под корнями даурской березы, подошел к упавшей книге и остановился перед ней. В передних лапах он держал орех, который нес в свою норку.

Филька сердито запустил в бурундука ножом. И острый нож вонзился в землю перед самой мордой зверька.

Бурундук уронил орех и тоже исчез.

А Филька медленно сполз с дерева. Он поднял орех, положил его на ладонь и взвесил – орех был полный. Филька некоторое время смотрел на него без движения, все думая о Тане, и затем, решив, что все-таки каждый орех должен быть раскушен, громко разгрыз его.

XXI

Ночью город спал. И хотя каждый звук, раздающийся вдалеке, кажется ночью близким, но нечего было слушать в безмолвии города. Никто не ходил по его улицам.

Только Таня продолжала свой путь.

Однажды она ходила уже в эту пору и по этой дороге. Но тогда рядом шел Филька, он нес ее удочки на плече. Оба они немного дрожали от холода, потому что была осень и на рассвете листья срывались и догоняли ветер, не касаясь земли. И звезды горели тогда только на самом краю горизонта. А теперь они не уходили с неба, дожидаясь зари, чтобы дружно покинуть его.

И пока они горели в тишине, Таня все шла одна при их свете, направляясь к лесистому мысу.

Она вошла в лес и выбрала себе широкую тропинку, где было светлее, чем под деревьями. Длинные корни и тени лежали на пути. Но ей не было страшно. Только влажные листья ольхи изредка пугали ее немного, задевая лицо. Она отстраняла их рукой. Она была задумчива.

Она думала: что делать, если Коля скажет ей о любви? Что делать? Вчера он пришел к

ней и сказал: «Приходи. Я прошу тебя, приходи ради меня. Ведь я еще не видел как следует рассвета в лесу. Приходи».

И вот через мгновение она придет.

Что делать? Что делать вообще, когда тебе говорят о любви, а у тебя есть мать, для которой ты в жизни одна, и нет у нее никого больше?

Она слегка дрожала, думая об этом, и куталась в докторский халат своей матери, который надела тайком.

А лес уходил все дальше, ведя ее по своим тропинкам к мысу, где были рассеяны огромные камни.

Коля выбрал себе место среди них. Он сидел и ждал, глядя в сторону леса. А под угасавшими звездами уже белел песок и, словно под дождем, блестели камни.

Таня появилась перед ним внезапно. Он не узнал ее в белом халате и бросился прочь от нее. Таня окликнула его по имени. Он отозвался. Но смущение его не прошло сразу.

Время тянулось медленно. Они в полном молчании шли назад к опушке, где, словно веретена, окутанные пряжей, стояли в дыму остроконечные ели.

Они выбрали лиственницу с широкими ветвями и остановились под ней.

– Зачем ты надела этот халат? – спросил Коля.

Таня ответила:

– У меня нет теперь красивого платья, которое так нравилось тебе.

– Зачем ты говоришь о своем красивом платье, я его совсем не помню. Я думаю только о тебе.

– Всегда? – спросила Таня.

– Всегда. Даже тогда, когда я тебя не вижу. Вот что для меня странно.

– Да, это странно, – сказала она.

Потом они присели у подножия лиственницы и прислушались к треску ветвей над головой. Это просыпались птицы в своих убежищах.

Над вершиной ближней ели замахала крыльями кедровка и улетела, оставив за собой в темном воздухе смутный след.

– Это очень странно, – повторила Таня, следя за ее полетом. – Вот она провела среди ветвей, тут, на ели, долгую ночь. А теперь на заре улетела... Но это хорошо. Значит, ты будешь думать обо мне всегда, и тогда, когда меня здесь не будет? Скоро я уеду.

Коля потихоньку вскрикнул. Он не постеснялся крикнуть, услышав эти слова, в одну секунду перевернувшие всю его душу.

Таня же, сколько было сил, старалась сдержать свой голос.

– Разве ты хочешь уехать отсюда? – спросил он.

– Да, я так решила. Пусть отец остается с тобой и с тетей Надей – она ведь тоже добрая, он любит ее. А я никогда не покину маму. Нам надо уехать отсюда, я это знаю.

– Но почему же, скажи мне? Или ты ненавидишь меня, как раньше?

– Никогда не говори мне об этом, – глухо сказала Таня. – Что было со мною сначала, не знаю. Но я так боялась, когда вы приехали к нам. Ведь это мой отец, а не твой. И, быть может, поэтому я была несправедлива к тебе. Я ненавидела и боялась. Но теперь я хочу, чтобы ты был счастлив, Коля...

– Нет, нет! – в волнении закричал он, перебивая ее. – Я хочу, чтобы и ты была счастлива, и твоя мать, и отец, и тетя Надя. Я хочу, чтобы были счастливы все. Разве нельзя этого сделать?

– Может быть, можно, – в раздумье ответила Таня, – не знаю.

И она замолчала, думая о своем собственном счастье, и о счастье отца, и о матери.

Она сидела тихо, прижимаясь спиной к темному стволу широкой лиственницы, точно ей хотелось опереться о нечто более незыблемое, более надежное, чем ее неясные мысли, смутно толпившиеся в уме.

Но и лиственница слегка колыхалась под силой предрассветного ветра. Он шел от реки по вершинам, раскачивая их.

Рассвет катился за ним, как прибой, ударяясь в отвесную стену леса.

А в небе над рекою не было уже ни одной звезды.

– И мне бы хотелось, чтобы все были счастливы, – сказала Таня, неотступно глядя вдаль, на реку, где в это время поднялось и дрогнуло солнце. – И вот я пришла к тебе. И теперь ухожу. Прощай, уже солнце взошло.

И Таня поднялась с травы, повернулась спиной к реке и пошла по лесу, не разбирая дороги.

Коля догнал ее на тропинке, где в стороне среди елей тихо стояли кедры.

– Таня, не уходи! – крикнул он. – Разве сказала ты мне все? Разве это все?

– Конечно, все, – ответила она с удивлением. – А разве еще что-нибудь нужно тебе, Коля?

Он не осмелился посмотреть на нее нежно: он боялся покраснеть и опустил глаза.

Она же продолжала глядеть в его лицо с милым и кротким вниманием.

Тогда он наклонился и приблизил свои губы к ее щеке.

Она не отстранилась от него.

Было тихо со всех сторон.

И в то же мгновение два громких выстрела прошли в тишине по лесу. Потом в горах был отзвук.

Невысокий кедр взмахнул ветвями, и огромный фазан в зеленых и золотистых перьях упал к ногам детей.

Они разбежались в испуге.

А фазан начал биться в траве и замер. И другой фазан, с белыми ушами, пролетев немного косо, зигзагами, мертвый припал к земле возле Тани.

Из-за толстых елей вышел на тропинку отец, а за ним появился Филька.

У обоих были ружья в руках, и голубой дымок кружился над их головами меж деревьев.

– Чудесно! – сказал отец.

Таня бросилась к отцу.

Он как будто несколько не был удивлен, видя ее здесь, в лесу.

Он ласково взял ее под руку и сказал:

– Дети, пора вам домой. Сегодня последний экзамен.

Филька же подобрал тяжелых птиц и, вместе с ружьем закинув их за спину, остановился рядом с Колей.

– А мы, брат, здесь охотились, – сказал он. – Много фазанов пасется по утрам на мысу.

Коля дрожал всем телом. Филька снял свою куртку и накинул ему на плечи. Он взял его тоже под руку.

Но тропинка была узка для двоих. И они пошли друг за другом, а Таня с отцом впереди.

Она прижималась к нему все тесней, чтобы плечом не сбивать росы с деревьев.

Изредка она поднимала глаза и смотрела ему в лицо. А он шагал по тропинке прямо, не боясь росы и стуча каблуками по корням. Он не вертелся, не кружился по лесу. Он был прост. Он улыбался ей и держал ее крепко.

– Как ты похожа на мать в этом белом халате! – сказал он.

А Таня вдруг подняла руку отца, положила к себе на плечо так, как она лежала в первый день их встречи. Затем погладила ее, поцеловала в первый раз.

– Папа, – сказала она, – милый мой папа, прости меня. Я на тебя раньше сердилась, но теперь понимаю все. Никто не виноват: ни я, ни ты, ни мама. Никто! Ведь много, очень много есть на свете людей, достойных любви. Правда?

– Правда, – сказал он.

– Простишь ли ты мне когда-нибудь мою злость? Я больше не буду сердиться. А ты, – тихо спросила Таня, – не сердись на меня, что я была тут, в лесу, с Колей так рано?

– Нет, моя милая Таня. Я ведь тоже знаю: хорошо в лесу на рассвете!

XXII

Уже не было весны. Обмелела у берегов река, выступили камни, и еще до полудня нагревался на побережье песок.

Блеск над водой стал острее, мельче. Летний зной ударял теперь прямо в горы, и по горячим токам воздуха медленно поднимались в вышину орлы. Только с моря долетал иногда чистый ветер, заставлявший вдруг ненадолго прошуметь леса.

Таня в последний раз обходила берег, прощалась со всеми. Она шла по песку, рядом со своею тенью, и река бежала у самых ее ног, – как друг, провожала она Таню в дорогу.

Длинная песчаная коса преградила им обоим путь.

Таня остановилась. На этой косе по утрам она любила купаться с Филькой. Где он теперь? Целое утро ищет она его повсюду напрасно. Он убежал, не желая прощаться с ней. Ни здесь, ни там не может она его найти.

Не она ли сама виновата?

Как часто за этот год, столь богатый для Тани событиями, забывала она о друге, которого обещала когда-то ни на кого не менять! Он же ее никогда не забывал, всегда снисходительный в дружбе.

И теперь, покидая милые места, Таня думала о нем с благодарностью, упорно искала.

– Филька, Филька! – крикнула она громко дважды.

И ветер отнес ее голос на самый край косы. И там, из-за песчаной гряды, вдруг поднялся Филька и встал на колени у воды.

Таня побежала к нему, погружая свои ноги в песок.

– Филька, – сказала она с укоризной, – мать меня ждет на пристани, а я ищу тебя с самого утра. Что ты делаешь тут, на косе?

– Так, ничего, мало-мало, – ответил Филька. – Мало-мало лежу.

Слова его были тихи, глаза чуть приоткрыты. И Таня посмеялась над его скорбным видом.

– Мало-мало, – со смехом повторила она и вдруг умолкла.

Он был без майки. И плечи его, облитые солнцем, сверкали, как камни, а на груди, темной от загара, выделялись светлые буквы, выведенные очень искусно.

Она прочла: «ТАНЯ».

Филька в смущении закрыл это имя рукой и отступил на несколько шагов. Он отступил бы очень далеко, совсем ушел бы в горы, но позади стерегла его река. А Таня все шла за ним, шаг за шагом.

– Да постой же, Филька! – говорила она.

И он не пошел дальше.

«Пусть, – решил он. – Пусть видят это все люди, раз так легко покидают они друг друга».

Но Таня смотрела не на него. Она взглянула на солнце, на блеск, рассеянный в воздухе над горами, и повернула пустые руки Фильки к себе.

Она была удивлена.

– Как же ты это сделал? – спросила она.

И в ответ Филька молча нагнулся к земле и вынул из-под кучи одежды, сложенной им на песке, четыре буквы, вырезанные из белой бумаги. Он наложил их на грудь и сказал:

– Я каждое утро прихожу сюда и даю солнцу жечь мою грудь, для того чтобы имя твое оставалось светлым. Я это придумал. Но прошу тебя, не смейся больше надо мной.

Он положил свою ладонь на горло, что было у него знаком величайшей печали. И Таня поняла, что лучше ей теперь не смеяться.

Она с новой для нее ласковостью заглянула ему в глаза и тихонько коснулась пальцем его кожи:

– Какой же ты маленький, Филька! Ты ребенок. Ведь это все отгорит и исчезнет, как только наступит зима и ты наденешь теплую рубашку.

Филька нахмурил лицо, в недоумении обвел глазами вокруг и горячий песок, и реку, сверкавшую среди гор подобно золотой долине. Растерянность его была велика. Он забыл о зиме, он вовсе не думал о ней, когда сжигал свое тело под солнцем.

«Дурак, дурак!»

Он готов был махнуть на себя рукой.

– Но ведь солнце так сильно, – сказал он все же с упрямством. – Неужели же всякий след исчезнет? Может быть, что-нибудь и останется, Таня? Подумай.

И Таня, подумав недолго, согласилась с ним.

– Ты прав, – сказала она. – Что-нибудь должно остаться. Все не может пройти. Иначе куда же... – спросила она со слезами, – куда же девается наша верная дружба навеки?..

Дети обняли друг друга.

Теплый воздух скользил по их лицам. Одинокие птицы глядели на них с высоты.

Кончилось детство! Как это случилось? И кто мог бы им это сказать? Ни песок, ни лес, ни камни, бывшие с ними всегда. Только родная река их одна убегала все дальше к восходу, струилась меж темных гор. И там, в незримой дали, вставала перед ними иная, волшебная страна, простирался светлый край.

И, обнявшись, они неотступно смотрели все в одну и ту же сторону, не назад, а вперед, потому что у них еще не было воспоминаний.

Но первая грусть расставания уже потревожила их.

– Прощай, дикая собака динго, – сказал Филька, – прощай!

Ему хотелось горько заплакать, но он был мальчик, родившийся в молчаливом лесу, на берегу сурового моря. Он лег на песок у воды и замер.

А Таня пошла по песку вдоль реки, и чистый ветер, прилетевший с того же сурового моря, дул ей все время навстречу.